

Акад. Л. В. ЩЕРБА

**ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
И ФОНЕТИКЕ**

**ТОМ I**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1958**

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

---

Акад. Л. В. ЩЕРБА

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ  
И ФОНЕТИКЕ

*ТОМ I*



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1958

*Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Ленинградского университета*

В первый том включены труды акад. Л. В. Щербы по общему языкознанию и по вопросам фонетики.

Большинство работ является библиографической редкостью, а некоторые публикуются впервые. Часть статей, написанных на французском языке, переведена на русский.

Издание рассчитано на языковедов, преподавателей филологических факультетов и студентов-лингвистов.

Ответственный редактор  
доц. *М. И. Матусевич*



*Bellegarda*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Научные идеи акад. Л. В. Щербы приобрели широкую известность уже при его жизни, а затем вошли в постоянный обиход советского языкознания благодаря усилиям многочисленных учеников и последователей, среди которых в первую очередь нужно назвать акад. В. В. Виноградова и проф. С. Г. Бархударова. Однако знакомство с подлинным ходом мыслей Л. В. Щербы, со всей сложностью, а иногда изысканностью его аргументации, с легким, безыскусственным изложением, тщательно выверенным фактическим материалом для большинства лингвистов и филологов невозможно, пока они не имеют в руках всех его исследований. Эти исследования рассеяны по различным старым изданиям, ставшим теперь библиографической редкостью, частью напечатаны в зарубежных журналах, имеющих только в богатейших столичных библиотеках, а потому малодоступных большинству читателей. Вместе с тем многие работы Л. В. Щербы, написанные несколько десятков лет тому назад, остаются актуальными и в наши дни. Это справедливо не только в отношении работ, посвященных большим лингвистическим проблемам (например, «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» или «О частях речи в русском языке»), но и в отношении ряда узких по теме статей (как, например, «Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий»).

Принадлежа к числу языковедов-мыслителей, Л. В. Щерба обладал исключительным даром теоретического обобщения и умел в каждом, даже самом маленьком вопросе находить проявление общих языковых закономерностей.

В трудах Л. В. Щербы языковеды всегда найдут множество тонких наблюдений и оригинальных мыслей, поэтому они снова и снова будут перечитывать их. Л. В. Щерба, всей душой ненавидевший всякую навязываемую догму и преклонение перед авторитетами, не мог бы примириться и с не критическим отношением к его собственным трудам. Пусть — на взгляд но-

вых поколений лингвистов — в них содержатся некоторые неправильные положения, пусть не всегда можно согласиться с его идеями, но они будят мысль, заставляя внимательно относиться к фактам языка и глубоко вникать в них.

В 1957 г. Учпедгизом уже были переизданы труды Л. В. Щербы по русскому языку, поэтому в настоящий сборник включены только наиболее важные небольшие работы по общему языкознанию и фонетике, а из больших книг приведены в выдержках основные положения.

подавляющее большинство собранных здесь работ было в свое время опубликовано и переиздается без всяких изменений и сокращений (как правило, сохранена и пунктуация Л. В. Щербы). Впервые по рукописи автора печатаются статьи «К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и о состоянии филологического образования» и «Что такое сравнительный метод в языкознании?» (тезисы к докладу).

Кроме того, одна небольшая работа «О второстепенных членах предложения» воспроизведена впервые по стенограмме (текст этой статьи не авторизован).

Актуальный интерес представляют сейчас работы Л. В. Щербы по фонетике, так как он был исключительно талантливым, до сих пор не превзойденным исследователем-фонетиком. Тем не менее в сборник не включены выдержки из его книги «Французская фонетика», поскольку она сейчас все время переиздается. По той же причине не перепечатано и предисловие к Русско-французскому словарю, хотя оно также очень интересно с лексикографической точки зрения.

Не помещена также работа «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», в которой Л. В. Щерба дает свое понимание (каким оно было в 30-х годах) основных вопросов общего языкознания, так как она только что вошла в «Хрестоматию по истории языкознания XIX—XX веков» В. А. Звегинцева.

Три статьи, написанные Л. В. Щербой по-французски, публикуются в русском переводе впервые; перевод статьи «О понятии смешения языков» сделан И. А. Щерба, «Несколько слов о сложных согласных звуках» — М. А. Виллер и «Заметки по общей фонетике» — М. В. Гординой.

Сборник открывается статьей «Очередные проблемы языковедения», являющейся научным завещанием Л. В. Щербы. За ней следует статья «К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и о состоянии филологического образования», имеющая актуальное значение с точки зрения политики народного образования. Остальные работы расположены по двум разделам — внутри каждого из них в хронологическом порядке: работы общего характера, работы по фонетике.

## ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ <sup>1</sup>

(Известия АН СССР, т. IV, вып. 5. Отд. литературы и языка, 1945)

Я, конечно, не имею претензии исчерпать все очередные проблемы современного языковедения, я буду говорить лишь о тех, о которых мне приходилось думать в зрелый период моей научно-лингвистической жизни.

Одной из основных очередных задач является сравнительное изучение структуры или строя различных языков. Насколько подобное сравнительное изучение сможет дать нам историческую картину развития структуры человеческого языка вообще в связи с развитием человеческого сознания, мне, откровенно говоря, неясно. Думается во всяком случае, что иного пути нет и быть не может. Но я слишком мало самостоятельно думал над этим вопросом, чтобы дольше останавливаться на нем.

Зато мне вполне ясна важность подобного изучения для другой проблемы, с которой, впрочем, вышеуказанная историческая проблема тесно связана. Дело идет о взаимообусловленности отдельных элементов языковых структур. Примером такой взаимообусловленности может служить тот общеизвестный факт, что в латинском языке порядок слов почти не играет никакой грамматической роли — факт, несомненно стоящий в связи с тем, что грамматическая роль большинства слов довольно точно определяется их морфологическими элементами. Богато развитая система согласных фонем некоторых кавказских языков, например абхазского, имеет своим коррелянтом бед-

---

<sup>1</sup> Предлагаемая статья Л. В. Щербы представляет собой черновой набросок доклада на тему «Очередные проблемы языковедения», подготовленного для общего собрания Отделения литературы и языка Академии наук. Несмотря на незаконченность работы и на некоторую эскизность ее изложения, редакция считает необходимым опубликовать ее, так как в этой статье нашли яркое отражение общелингвистические взгляды Л. В. Щербы. — *Ред.*

ность их системы гласных, вплоть до потери этими последними самостоятельного фонематического значения. Для абхазского языка, по-видимому, вполне можно постулировать в недавнем прошлом такое состояние, когда фонемой был слог. Семантизация различий по силе артикуляции согласных в грузинском (так называемая «тroyкая звонкость»), в некоторых германских языках и диалектах, в некоторых финских языках находится, конечно, в связи с уменьшением значения, а то и вовсе с падением противоположения звонкости и глухости согласных во всех этих языках.

Все эти факты, бросающиеся в глаза, лежат, так сказать, на поверхности наблюдаемых явлений, но на очереди стоит еще углубленное, по возможности исчерпывающее изучение относящихся сюда фактов, ибо только на этих путях можно серьезно ставить вопрос о зависимости изменений в знаковой стороне языка от изменений в структуре общества. Сейчас это больше постулат, чем очевидный факт.

Итак, насущно необходимо внимательно изучать структуру самых разнообразных языков. На первый взгляд кажется, что этим всегда и занимались и что никакой специфической проблемы сегодняшнего дня здесь не имеется. Однако, если обратить внимание на то, как до сих пор изучалась структура разных языков и как это надо делать, то становится очевидным, что мы действительно стоим перед громадной лингвистической проблемой первоочередной важности.

Как мной неоднократно указывалось (между прочим в статье «Sur la notion de mélange des langues» в Яфетическом сборнике, IV), всякое изучение второго языка ведет к двуязычию, которое бывает двух типов — чистое и смешанное. Чистым оно бывает, когда между языками не устанавливается никаких сравнений, никаких параллелей, когда перевод с одного языка на другой в сущности невозможен для носителей подобного двуязычия и во всяком случае крайне затруднен. Для того, чтобы перевести какую-либо фразу с одного языка на другой, приходится возвращаться к ситуации ее вызвавшей, так как нет никакой непосредственной связи между знаковыми сторонами данных двух языков. Примером такого чистого двуязычия может служить существование русского и французского у нашей старой аристократии, получавшей французский язык от гувернеров и гувернанток, ни слова не знавших по-русски.

Двуязычие будет смешанным в тех случаях, когда второй язык изучается с постоянной оглядкой на первый, точнее, когда второй язык усваивается через первый. Таким образом, смешанное двуязычие в той или другой мере является нормальным случаем двуязычия, тогда как чистое может возникать лишь в известных условиях. При смешанном двуязычии вновь усваиваемый язык всегда претерпевает то или другое влияние



первого языка, во всяком случае в смысле категоризации явлений действительности.<sup>1</sup>

Русское *нога* не находит себе эквивалента ни во французском, ни в немецком, так же, как ни французское *jambe*, ни немецкое *Bein* не находит себе эквивалента в русском. Всякий русский не может себе представить действие вне видового оттенка, а большинство иностранцев склонно образовывать настоящее время (не форму) от всякого нашего глагола совершенного вида. У двуязычных народов, употребляющих оба языка рядом, образуется собственно единый язык, который я позволил себе назвать «langue à trois termes» и в котором каждому значению соответствуют два способа выражения, употребляющиеся один вместо другого.

При осознании языка, т. е. при создании его грамматики и словаря, индицирующим может быть и второй язык, если он пользуется каким-либо освященным традиционным авторитетом. Так, грамматики большинства известных нам языков находятся под тем или другим влиянием латинской грамматики, от которой они лишь с великим трудом и только очень постепенно освобождаются. В этих условиях я позволяю себе утверждать, что при изучении языков у подавляющего большинства лингвистов получается смешанное двуязычие и изучаемый язык в той или иной мере воспринимается ими в рамках и категориях родного. В связи с этим особенности структуры изучаемых языков или стираются или фальсифицируются.

Такому положению вещей пора объявить беспощадную войну, и в этом смысле это действительно одна из очередных больших лингвистических проблем. Осознание этой проблемы особенно важно для нас в Советском Союзе ввиду громадного большинства языков, которые еще подлежат изучению и фиксации.

Однако это легко сказать, но трудно сделать. Для того, чтобы не исказить строй изучаемого языка, его надо изучать не через переводчиков, а непосредственно из жизни, так, как изучается родной язык. Надо стремиться вполне обладать изучаемым языком, ассимилироваться туземцам, постоянно требуя от них исправления твоей речи. Но этого, конечно, недостаточно: опыт учит, что и в таких условиях у взрослого получается своего рода «нижегородский французский». Со стороны лингвиста при превращении *parole* в *langue* необходима неусыпная борьба с родным языком: только тогда можно надеяться осознать все своеобразие структуры изучаемого языка. Одним это

---

<sup>1</sup> Как я показал в вышеупомянутой статье «Sur la notion de mélange des langues», а также в ряде других статей, действительность воспринимается в разных языках по-разному: отчасти в зависимости от реального использования этой действительности в каждом данном обществе, отчасти в зависимости от традиционных форм выражения каждого данного языка, в рамке которых эта действительность воспринимается.

удается в большей степени, другим — в меньшей; но к этому надо во что бы то ни стало стремиться, если решительно заниматься сравнением структуры языков. Чем полярнее эти структуры языка, тем легче это сделать. В наилучшем положении находятся те языки, в которых хорошие грамматические и словарные описания сделаны туземцем вне какого бы то ни было влияния со стороны иноземных языков. Не знаю только, сколько найдется таких действительно хороших описаний (к сожалению, я не изучал творений Панини и не могу о них судить). Однако несомненно, что во всех подобных туземных описаниях всегда много правды и что необходимо их тщательно изучать, несмотря на возможные недостатки их лингвистического метода.

Частной и чисто отрицательной задачей в плане создания языковых описаний, адекватных действительности, является борьба с традиционной классификацией языков на флективные, агглютинативные и изолирующие (куда иногда присоединяется еще четвертый класс языков инкорпорирующих). В свое время эта классификация была, конечно, большим достижением, но сейчас она является лишь способом терминологией заменить исследование. Сейчас едва ли кто из думающих лингвистов серьезно отождествляет эту классификацию с глоттогонией, однако самые понятия не сходят со страниц учебников и даже многих исследований. И действительно, латинский, турецкий и китайский (во всяком случае в его древней, но, конечно, не древнейшей форме, зафиксированной в иероглифике) являются структурно полярными языками. Однако непонятно, почему склонение в турецких языках называется агглютинацией, а в латинском — флексией. Раздельность выражения падежа и числа в турецких языках, являясь вполне естественной, едва ли может считаться структурным признаком этих языков. Многообразие склонений большинства индоевропейских языков, будучи, вероятно, следствием фонетических процессов, является скорее курьезом, чем структурным признаком, хотя оно несомненно является одним из факторов разрушения склонений в этих языках. Некоторые лингвисты почему-то видят флективность в семантизации чередований гласных корня («флексия основ»). Хотя в большинстве индоевропейских языков это явление находится на стадии пережитков (даже в германских языках, где «сильные глаголы» не являются типичными), однако в принципе это, конечно, структурный признак. Но отчего же тогда не называть флективностью семантизацию чередований согласных, что так характерно, например, для русского языка и встречается во многих языках, и «флективных» и «агглютинативных»? Что касается семантизации чередований гласных корня, то ее нет в турецких языках не потому, что они «агглютинативны», а потому, что они характеризовались еще в недавнем прошлом, а отчасти характеризуются и сейчас так называемой гармонией гласных. Это, конечно, тоже структурный признак,

но могущий иметь место в любых языках как показатель словесного или иного единства.

Категория «изолирующих» языков на первый взгляд кажется более убедительной. Однако она покоится на понятии «отдельного слова», и здесь лежит частная, но очень важная очередная проблема современного языковедения. В самом деле, что такое «слово»? Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого собственно следует, что понятия «слово вообще» не существует. Однако, если согласиться с тем, что в «речи» (*parole*) «слово» не дано и что оно является лишь категорией «языка как системы» (*langue*), то «слово» представится нам в виде тех кирпичей, из которых строится наша «речь» (*parole*) и некоторый репертуар которых необходимо иметь в памяти для осуществления речи.<sup>1</sup>

Во всяком случае, с моей точки зрения, в «язык как систему» (*langue*) входят «слова», образующие в каждом данном языке свою очень сложную систему (к этому я вернусь ниже), живые способы создания новых слов (а потому и фонетика, точнее фонология, или фонематология), а также схемы или правила построения различных языковых единств — все это, конечно, социальное, а не индивидуальное, хотя и базируется на реальной «речи» членов данного коллектива. К «речи» же (*parole*) относятся, с моей точки зрения, все процессы говорения и понимания, разыгрывающиеся в индивидууме.

Из этого, между прочим, вытекает, что многие так называемые «сложные слова», например, немецкого языка или санскрита, являются в этих языках словами лишь по форме, а по существу будут соответствовать тем простейшим единицам «речи» (*parole*), которые я называю синтагмами: большинство сложных слов этих языков делается в процессе речи и не входит в репертуар «языка как системы». Само собой разумеется, что такие русские слова, например, как *пароход*, *паровоз* и т. п., в отличие от таких, как *шлемоблещущий*, *русско-французский*, являются сложными словами лишь в исторической перспективе; сейчас это простые слова.<sup>2</sup>

Вообще при исследовании как проблемы «слова», так и всех других аналогичных проблем необходимо смелее подходить к традиционным понятиям и особенно терминам. Смешно спраши-

---

<sup>1</sup> О понятиях «язык как система» (*langue*) и «речь» (*parole*) см. мою статью «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языковедении» в Известиях Академии наук. Отд. общественных наук, 1931. № 1. Внимательный читатель заметит, что мое понимание относящихся сюда вещей кое в чем отличается от соссюровского.

<sup>2</sup> Хотя я давно и много думал и думаю о понятии «слово», однако я не могу взять на себя разработку этой проблемы, так как в моем возрасте я уже не могу взяться за такое изучение какого-либо яфетического языка, о каком я говорил выше: это требует большого самопожертвования, превращения себя на несколько лет в «примитив», что возможно только в молодом возрасте.

вать: «что такое предложение»? Надо установить прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области, а затем давать наблюдаемым явлениям те или другие наименования. Применительно к европейским языкам, а в том числе и к русскому, мы прежде всего встречаемся с явлением большей или меньшей законченности высказываний разных типов, характеризующихся разнообразными специфическими интонациями — повествование, вопросы, повеления, эмоциональные высказывания. Примеры очевидны. Далее мы наблюдаем такие высказывания, где что-то утверждается или отрицается относительно чего-то другого, иначе говоря, где выражаются логические суждения с вполне дифференцированными *S* и *P* (есть в русском языке некоторые и другие случаи, о которых сейчас не буду говорить): *мой дядя — генерал, хороший врач — должен быть прежде всего хорошим диагностом; мои любимые ученики — собрались сегодня у меня на квартире; все эти мероприятия — не то, что надо больному в настоящую минуту* (тире поставлены иногда против правил пунктуации для того, чтобы подчеркнуть двучленность всех этих выражений). Далее мы наблюдаем такие высказывания, посредством которых выражается та или иная наша апперцепция действительности в момент речи, иначе говоря, узнавание того или иного ее отрезка и подведение его под имеющиеся в данном языке общие понятия: *светает; пожар; горим; солнышко прогревает, воробышки чирикают, на прогалинке травка зеленеет; когда гости подъехали к крыльцу, все высыпали их встречать; подъезжая к крыльцу, мы еще издали заметили на нем поджидающих нас хозяев; мы вошли в комнату, где жила целая семья.* (Примеры выбраны так, что все отдельные их синтагмы являются иллюстрациями данного случая.)

При таких обстоятельствах оказывается совершенно неясным, что же имеется в виду, когда мы говорим о «предложении».

Насколько мы находимся во власти традиции и одностороннего формализма, видно на примере хотя бы русской грамматики: она до сих пор видит в деепричастиях особую категорию, тогда как по функции они совершенно сходны с обычными, так называемыми личными формами глагола, обозначая или действие одновременное — у глагола вида несовершенного, или действие предшествующее — у глаголов вида совершенного.<sup>1</sup> То, что эти формы не имеют ни личных, ни числовых примет, не может иметь никакого значения, да они в них и не нуждаются, так как лицо, число, а иногда и род обозначены всегда глаголом, к которому они примыкают, согласование же вещь не обязательная (ср. прилагательное в турецких языках и прилага-

---

<sup>1</sup> Любопытно отметить, что видовые различия при этом как-то ступеваются.

тельное в немецком языке, если их несколько — согласуется лишь первое определяющее слово). Примеры можно бы умножить.

Как я уже говорил выше, преодолевать понимание, внушаемое нам родным языком, легче всего, по-видимому, на полярных по структуре языках, но основная цель сравнительного исследования разных языковых структур едва ли не лучше достигается на сравнительно близких по структуре языках, так как тут исследование несколько приближается к эксперименту.

Три типа языков нуждаются в первую голову в подобном «беспредрасудочном» изучении. Это, во-первых, языки племен, стоящих на низком уровне развития: здесь надо, между прочим, разбить предрассудок, будто языки примитивных племен структурно являются сравнительно простыми. По-видимому, это не так, и даже племена, стоящие чуть ли не на стадии палеолита, обладают языками со слабеющей и как будто даже очень отвлеченной структурой. Все это, конечно, требует проверки.

Во-вторых, требуют пристального изучения языки жестов. Это изучение не может ограничиваться тем, чтобы записать несколько десятков жестов какого-либо коллектива, а должно состоять в том, чтобы научиться свободно, как родным, владеть каким-нибудь из этих языков. На основе этого владения и постоянной проверки его на практике исследователь должен составить грамматику и словарь данного языка, конечно, без всякой оглядки на обыкновенный звуковой язык. У нас такому изучению подлежит спонтанный язык жестов глухонемых (мимический язык), который создается вне какой-либо традиции у глухонемых детей, не подвергавшихся еще школьному обучению, но живущих вместе и, следовательно, общающихся друг с другом. Для рациональной постановки сурдопедагогики это крайне важно, ибо детей, обучающихся в школе письменному русскому языку и чтению (я не говорю в этой связи об устном языке), никоим образом нельзя себе представлять как обучающихся первому языку, которым является их спонтанный или иная разновидность традиционного мимического языка. В результате получается ужасающее смешанное двуязычие с исключительным по понятным причинам (ничтожный размер материала на изучаемом языке и полное отсутствие контроля) преобладанием мимического языка. В связи с этим методика обучения глухонемых чтению и письму должна быть коренным образом пересмотрена, должна и вдохновиться кое-чем из методики преподавания иностранных языков<sup>1</sup> и, наконец, нужно не

---

<sup>1</sup> Методисты-сурдопедагоги должны понять, что выучиться какому-либо языку значит усвоить себе систему данного языка (*langue*), а это можно сделать только на основе громадного материала чтения (*parole*), так как *parole* в прямом смысле слова для глухонемых не существует. Изучить иностранный язык в отсутствие соответственного окружения тоже можно толь-

только требовать от учителей знания первого, т. е. мимического, языка учащихся, но и отличного понимания его структуры, для того чтобы уметь во всех случаях парализовать вредное влияние этой структуры на изучаемый язык.

Сурдопедагоги и лингвисты должны помогать друг другу — в результате выиграют и практика и наука.<sup>1</sup>

Третий тип языков, который, по-моему, нуждался бы в пристальном изучении, — это язык всевозможных афатиков. Сам я этим не занимался, но довольно много думал об организации подобных исследований. Прежде всего надо получить достаточные материалы, т. е. записи речи (ragole) афатиков. Было бы очень хорошо, если бы эти записи можно было делать на пленке при помощи очень чувствительного микрофона: это были бы, во-первых, вполне достоверные тексты, а во-вторых, это позволило бы включить в поле исследования и фонетику. Полученные тексты надо дать опытному лингвисту, который, конечно, должен присутствовать при самой записи текстов, чтобы иметь максимум данных для их понимания. На основе этих текстов лингвисты должны попытаться составить «систему» (грамматику и словарь) диалекта афатика в момент записи, подобно тому как на основании диалектологических текстов он может составить грамматику и словарь данного диалекта. Поняв систему языка афатика в целом и сравнив ее с нормальной, он сможет иногда увидеть причины ошибок речи афатика, рекомендовать целесообразные средства для устранения этих ошибок и во многих случаях понять связь между отдельными элементами языка.

Опять-таки и практика лечения недостатков речи (которых теперь так много в связи с ранениями и контузиями головы) и наука о языке очень выиграли бы от совместной работы логопедов и лингвистов.

В заключение этого отдела не могу не упомянуть об одной проблеме, которая меня очень интересует, но к которой я даже не знаю, как можно приступить. Проблему эту я называю «проблемой понимания» и подразумеваю под этим вопрос о том, как человек начинает понимать чужой язык в тех случаях,

---

ко через обильное чтение, только через книгу. Что касается грамматики, то существующие грамматики не годятся для глухонемых детей, так как очень многого и очень нужного в них нет, а во многих случаях они искажают действительность.

<sup>1</sup> В заключение позволю себе высказать одно самое горячее пожелание, чтобы абсолютно все книги, предназначенные специально для глухонемых, особенно книги для самостоятельного чтения, снабжались знаками ударения: ведь это чтение и есть тот материал (ragole), из которого глухонемые только и могут усвоить себе такой важный момент русского языка, как ударение. При этом важно отметить все проклитики и энклитики — для этого надо только не ставить на них ударения и, наоборот, ставить его на всех ударных односложных словах: *пойдём, брат, домой, сказал мне ваш брат и взял меня за руку*. Это прямо-таки преступление, что тексты для глухонемых до сих пор печатались без знаков ударения.

когда его этому языку абсолютно не учат. Единственное, что я думаю на этот счет, это то, что понимание обуславливается в этих случаях общностью жизненного опыта и общностью реакций на явления жизни. Если этого нет, то, вероятно, невозможно и полное понимание. Вопрос этот особенно интересен в связи с изучением языков-примитивов.

Ничего не говорю здесь об образовании понятий, хотя проблема эта является исключительно важной для лингвистов, ибо в основе «значений» так или иначе лежат понятия. Однако я полагаю, что вопрос этот относится скорее к ведению философии и психологии. Он имеет, конечно, громадное значение для проблемы становления человеческого языка.

Перехожу к специфически лингвистическим проблемам. Здесь мы, русские лингвисты, должны прежде всего думать о создании грамматики и словаря русского литературного языка, которые бы отвечали языковой действительности и которые были бы свободны от всяких традиционных и формалистических предрассудков.<sup>1</sup> Задача эта, помимо того общенаучного значения, о котором достаточно было сказано выше, имеет еще и большое практическое значение в разных областях.

Грамматика, которая есть не что иное, как сборник правил речевого поведения, является важнейшей книгой. Правила, составляющие ее содержание, должны быть точными и отвечать языковой действительности; они должны руководить говорящими при составлении фраз в соответствии с теми мыслями, которые эти говорящие хотят выразить.

Пора, действительно, оставить ту обывательскую мысль, которая, впрочем, гнездится как-то и в головах многих лингвистов, не желающих продумать вопрос до конца, будто изучение грамматики имеет большее образовательное значение, чем практическое, и что сама она является плодом размышляющего над языком человека, а вовсе не объективной языковой действительностью, управляющей нашей «речью» (*parole*). В самом деле, дети, не умеющие даже читать, говорят по грамматике, которую они себе бессознательно создали<sup>2</sup> на основе своего лингвистического опыта (*parole*). Когда ребенок говорит — *у меня нет картов*, то он, конечно, творит формы по своей еще не совершенной, т. е. еще не адекватной грамматике взрослых, а не повторяет слышанное, ибо такой формы он наверное не слышал от окружения. Если бы наш лингвистический опыт не был упорядочен у нас в виде какой-то системы, которую мы и называем грамматикой, то мы были бы просто понимающими

---

<sup>1</sup> Не надо думать, что подобная работа сделана для других языков: соответственная задача стоит перед каждой национальной лингвистикой. Больше всего на этих путях, может быть, сделано у французов, но и они далеки еще от идеала.

<sup>2</sup> Бессознательно в том смысле, что соответственные процессы, сравнения, анализы и синтезы (языкотворчество) не сохранились у нас в памяти.

попугаями, которые могут повторять и понимать только слышанное.

Где, однако, существующие грамматики оказываются особенно зловредными, это в сурдопедагогике. В самом деле, бедным глухонемым недоступны даже высказывания учителя, исправляющие и дополняющие грамматику, и грамматика является для них единственным руководителем их речевого поведения, и поэтому она должна быть безусловно надежным руководителем.

В связи с проблемой грамматики вообще стоит целый ряд частных проблем, которые настоятельно требуют своего разрешения. Во-первых, вопрос о соотношении исторической и так называемой описательной грамматики; во-вторых, о содержании самой грамматики и ее противопоставлении словарю — иначе системе лексики, — которому ниже будет посвящен особый раздел, о подразделении грамматики, в частности о месте в ней фонетики и таких отделов, как «части речи»; в-третьих, о необходимости различать активную и пассивную грамматику, в связи с чем стоит вопрос о возможности или невозможности построения «идеологической грамматики», т. е. исходящей из семантической стороны, независимо от того или иного конкретного языка.

Первый вопрос — о соотношении исторической и описательной грамматики, иначе, по Соссюру, о диахронической и синхронической лингвистике, с моей точки зрения, совершенно ясен и не составляет проблемы. Еще задолго до Соссюра Бодуэн учил не смешивать различные хронологические стадии в описании языка и не приписывать явлений более ранних стадий позднейшим, где эти явления или вовсе отсутствуют, или существуют в виде пережитков. Ярче всего эти, казалось бы, очевидные истины высказаны были Бодуэном в его учении об изменяемости основ,<sup>1</sup> которое в 1870 г. так не понравилось Шлейхеру и потом им неоднократно повторялось при разных случаях.

Я думаю, что недооценка роли синхронической лингвистики находится в связи с недооценкой роли грамматики (а как увидим ниже, и словаря) в нашей речевой деятельности, о чем я уже говорил. Что же касается презрительной характеристики некоторыми лингвистами описательной грамматики как ненаучной, то это, конечно, глубоко несправедливо: выведение из данных в опыте фактов «речи» (*parole*) общего, т. е. «языка как

---

<sup>1</sup> Не могу не сделать здесь лирического отступления и не посетовать на своих соотечественников, которые признают идеи, лишь снабженные заграничной маркой. Так, очень многое, высказанное Соссюром в его глубоко продуманном и изящном изложении, ставшем всеобщим достоянием и вызвавшем всеобщий восторг в 1916 г., нам было давно известно из писаний Бодуэна. Между тем некоторые наши лингвисты даже учение о фонемах в той или другой мере готовы возводить к Соссюру.



системы» (*langue*), является, как всякое обобщение единичных фактов, одной из основных целей, к которой стремится каждая наука: вопрос о причинных связях явлений может с успехом ставиться лишь в той мере, в какой продвинул процесс обобщения частного. Кроме того, задача эта является самой трудной в лингвистике; если бы это было иначе, мы давно бы имели прекрасные грамматики и словари для всех известных языков. У нас не только нет этого, как я уже неоднократно указывал, но мы даже не знаем, как должны выглядеть в идеале эти грамматики и словари. Поэтому-то это и является актуальнейшей лингвистической проблемой сегодняшнего дня.

Может быть, некоторое отрицательное отношение к описательной грамматике зависит от недостаточно четкого отграничения ее от нормативной грамматики. Дело в том, что в нормативной грамматике зачастую язык обычно представляется — и с моей точки зрения, это неправильно — в окаменелом виде. Это отвечает наивному обывательскому пониманию: язык изменялся до нас и будет изменяться в дальнейшем, но сейчас он неизменен. Язык все время изменяется, и в описательной грамматике это должно найти себе отражение. Некоторые стороны языка действительно стоят очень твердо в течение более или менее длительного периода времени,<sup>1</sup> зато другие стареют и становятся пережитками, а третьи лишь зарождаются. Так, мы говорим уже: *речь идет о каких-нибудь тысяче рублях*, хотя и старое *о тысяче рублей* не звучит еще неправильно. *Обуславливать, подытоживать* все больше и больше уступают место новым *обуславливать, подытаживать*.

Хотя *польта* звучит еще просторечно, однако рано или поздно этой форме обеспечено будущее. Конечно, мы пишем *тысяча*, однако в речи *тыща* не менее употребительна. Мы говорим *с тысячею рублей в кармане*, однако *с тысячью рублей* едва ли не лучше, чем *с тысячей рублей* (вероятно, в силу диссимилиации двух разносмысленных окончаний *-ей*, ср. сказанное выше о разных противодействующих факторах). Если опи-

---

<sup>1</sup> И то это только так кажется: на самом деле всегда и везде есть факторы, которые «грызут норму», но при состоянии наших знаний мы не умеем их наблюдать. Вообще я представляю себе язык находящимся все время в состоянии лишь более или менее устойчивого, а сплошь и рядом и вовсе неустойчивого равновесия, в результате действия целого ряда разнообразных факторов, зачастую друг другу противоречащих. Многие «фонетические законы», несомненно, остались и остаются нам неизвестны, так как их действие парализовалось действием других законов или вообще других факторов (ср. ассимиляцию слабыхъ *ѣ* и *ь* в славянских языках следующему мягкому или твердому слогу или спорадическую ассимиляцию неударного *e* последующему неударному *a*: *керосин* (прост.: *карасин*), *Пелагея* (*Палашка*). Поэтому-то и важно сравнительное изучение структуры разных языков, между прочим, конечно, и фонетической, о чем говорилось выше: вскрывая взаимосвязь языковых явлений, она может сыграть громадную роль для раскрытия внутреннего механизма эволюции языка.

сательная грамматика не даст всего этого, не покажет всей «диалектики» языка, то она будет плохой грамматикой. Я думаю, что и в так называемой нормативной грамматике чрезмерная нормализация зловредна: она выхлещивает язык, лишая его гибкости. Никогда не надо забывать отрицательного примера Французской академии.

Проблемой действительно является содержание грамматики и ее разделов. Здесь царит довольно большое разномыслие. На первый взгляд естественно противополжить обозначение самостоятельных предметов мысли — лексики и выражение отношений между этими предметами — грамматики.

При таком понимании вещей все так называемые служебные слова — предлоги, союзы, связки, некоторые местоимения, многие предложные и союзные выражения попадают только в грамматику и совершенно исчезают из словаря. Многие слова в одной функции остаются в словаре (*он прошел мимо не оглянувшись; он был в Америке* и т. п.), а в другой попадают в грамматику (*он прошел мимо нас; он был американец* и т. п.). Можно даже считать, что такое словосочетание, как *при посредстве*, будет относиться к грамматике во фразе — *я обошелся при посредстве перочинного ножа и маленького напильника* и к лексике во фразе — *Андрюша попал в экспедицию только при посредстве своего дяди-профессора*.

Все формы слов, имеющие синтаксическое значение, естественно вошли бы в грамматику.

Однако слова и формы слов, не выражающие ни самостоятельных предметов мысли, ни отношений между ними, оказались бы беспризорными при подобном противополжении. Таковы формы числа, рода имен существительных, форма вида и т. п. Таковы словечки *очень, весьма* и т. п.

Далее, при подобном противополжении все словообразование, а в конце концов и фонетика, должны были бы войти в лексику, в словарь. Хотя все это практически и неудобно, однако смущаться, конечно, этим нечего: не объективная действительность должна равняться по ученым и их удобствам, а ученые — по объективной действительности.

Возможно, однако, и иное противополжение: с одной стороны, все индивидуальное, существующее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи — лексика, и с другой стороны — все правила образования слов, форм слов, групп слов и других языковых единств высшего порядка — грамматика. И тот и другой отдел, само собою разумеется, со своей семантикой.

О системе лексики будет говоритья особо ниже. Здесь я остановлюсь только на подразделении грамматики, где много спорного, являющегося, однако, насущной проблемой дня, так как грамматики пишутся и должны писаться по причинам, изложенным выше.

Основные отделы всякой грамматики для меня в общем очевидны и в основном намечены мною еще в моем «Востоchnoлужичком наречии»; но там они даны на материале конкретного славянского языка и теоретически никак не обоснованы. Здесь я постараюсь говорить о грамматике вообще, поскольку это и принципиально возможно и поскольку это в моих силах. Одним из таких основных отделов грамматики являются, по-моему, правила словообразования, т. е. вопрос о том, как можно делать новые слова. Вопрос же о том, как сделаны готовые слова — дело словаря, где должна быть дана и делимость слова, если его состав еще ощущается и может быть действительным фактором «речи» (*parole*); при этом могут быть случаи переходные, когда то или другое слово может забываться и делаться как бы вновь. *Писальщик, читальщик, ковырляльщик* никогда не входили и не входят еще в словарь, но могут быть всегда сделаны и правильно поняты; *подавальщик, подавальщица* — слова сделанные, но могут создаваться и вновь; *носильщик, писатель* — слова, безусловно, вошедшие в словарь, но еще вполне живые в своем составе и могли бы быть сделаны; *метельщик* — слово, давно сделанное, наново сделано быть не может, но в составе своем понятно (хотя исторически, вероятно, от *метла*, а не от *места*); слова *свинец, огурец* и т. п. в составе своем уже плохо понятны и раскрываются только при исследовательском подходе.

Словообразование может происходить разными способами: оно может быть морфологическим, получая при этом разные традиционные названия: или суффиксального, или префиксального, или инфиксального (термины говорят сами за себя). Морфологическим оно будет во всех тех случаях, когда словопроизводящий элемент не отождествляется с каким-нибудь словом, обозначающим самостоятельный предмет мысли.

Морфологическое словообразование является для нас самым привычным, но это не должно быть причиной того, чтобы забыть о возможности фонетического словообразования — я имею здесь в виду морфологизованные чередования. Например, чередования твердости последнего согласного основы с мягкостью при образовании отвлеченных существительных от прилагательных *зелен-ый (зелень), черн-ый (чернь)*, чередование места ударения в английском при образовании глаголов от прилагательных. Далее, словообразование принимает форму так называемого словосложения во всех тех случаях, когда оба элемента отождествляются со словами, обозначающими самостоятельные предметы мысли, и не вполне утратили свое индивидуальное значение. Словосложение, как таковое, может иметь то или другое формальное выражение. Это выражение может быть морфологическое (так называемые «соединительные гласные» индоевропейских языков и т. п.); фонетическое (ударение, гармония гласных и т. п.); синтетическое (порядок слов).

Однако словосложение не нуждается в формальном выражении, и любая синтаксическая группа может оказаться сложным словом, которое должно отличаться от группы лишь тем, что оно значит больше, чем сумма значений образующих его слов. Таким образом, словосочетания вроде *железная дорога, общая тетрадь, зубная паста, красное вино* (где со словом *красный* связывается целый ряд качеств, вина) и т. д. следует считать сложными словами.

Само собой разумеется, что такие слова, как *перекати-поле, на каждый день, записная книжка*, являются сложными словами. Что даже такое словосочетание, как *чай пить*, начинает ощущаться сложным словом, явствует из такого очень распространенного новообразования, как *мы уже почайпили* и т. п.

Вопрос о том, какие из сложных слов относятся к лексике, а какие нет, разрешается таким же путем, как это было разъяснено выше на суффиксальных словах. Сложные слова из синтаксических групп, очевидно, все будут достоянием словаря. Однако и тут могут быть общие приемы составления подобных сложных слов, где, правда, одна из составных частей носит характер служебного слова. Для французского языка разработаны такие constructions nominales и constructions verbales (Gougenheim). Русские примеры: группы с глаголом (не со связкой) *быть* [*быть в халате, быть в вечернем платье, быть в меланхолии, быть в (не) настроении* и т. п.], наречные словосочетания со словом *образом* (*неприятным образом — неприятно неожиданно, неприятным образом — неожиданно* и т. п.).

Наконец, есть семантический способ словообразования, т. е. употребления слов в новом смысле. Такие случаи, как *ручка* в смысле «то, за что держат», специально в смысле «дверная ручка» и специально в смысле «вставочка» и т. д., целиком, конечно, относятся к лексике. Однако есть и типизованные случаи изменения значения, которые должны рассматриваться в грамматике.

Второй для меня ясный отдел грамматики — это правила формообразования. Его можно было бы назвать морфологией, но название это скомпрометировано разными его употреблениями. Для лиц, воспитавшихся на индоевропейских языках, понятие форм слов является настолько привычным, что не вызывает никаких недоумений. На самом деле это не так, и в целом ряде случаев могут возникнуть затруднения.

Говорить о разных формах слова, не придавая термину никакого специального философского значения, можно и должно тогда, когда у целой группы конкретно разных, но по звукам сходных слов мы наблюдаем не только что-то фактически общее, а единство значения. Когда мы наблюдаем, что все эти слова обозначают одни и те же предметы мысли, хотя и в разных его аспектах или с разными дополнительными значениями, то образно мы вполне вправе говорить, что слова этой груп-

пы являются различными видоизменениями, различными «формами» одного и того же слова. Собственно говоря, лучше бы не употреблять слово «форма» в этом простецком значении: слишком оно многозначно, но подобное, хотя, может быть, и не всегда до конца осознанное словоупотребление, так укоренилось в нашем языке, что с ним трудно было бы вести войну.<sup>1</sup>

Как бы то ни было, но называть сейчас слово *шарманщик* «формой» слова *шарманка* совершенно условно и исключительно с формальной точки, конечно, можно, но, по-моему, как-то противоестественно, тем более, что подобное словоупотребление в конце концов только запутывает довольно ясное в общем положение вещей. *Трубочка* трудно называть формой слова *труба*, так как трудно даже подумать, чтобы слова *труба* и *трубочка* считать за одно слово, за разные формы одного и того же слова: *трубочка* есть название человека, который трубит, а *труба* — название предмета, в который он трубит. Точно так же *труба* и *трубка* нельзя считать формами одного и того же слова, так как они обозначают разные предметы. Но вот слова *трубка* и *трубочка* в определенных случаях можно считать за формы одного и того же слова: *трубочка* может называться уменьшительной формой слова *трубка* в определенных значениях. Такое словоупотребление вполне отвечает нашей словарной традиции, где зачастую уменьшительные и ласкательные формы, если они не дают новых значений, вовсе даже не приводятся в предположении, очевидно, что они подразумеваются грамматической тео-

---

<sup>1</sup> Многие не признают важности и принципиальности противопоставления словообразования и формообразования, сваливая все это в одну кучу морфологии. Это находится отчасти в связи с крайним разнообразием понимания техники «формы».

Я не люблю спорить с чужими мнениями, считая, что если я хорошо обосновал собственное, то через это страдают все другие, с моими несогласные, по крайней мере, элементы, противоречащие моим положениям (добросовестные научные мнения, хотя бы и неправильные, в конечном счете всегда содержат в себе зерна истины). Однако некоторые недоразумения так вкоренились в нашу литературу, вплоть до учебников, что придется сказать несколько слов по поводу некоторых традиционных утверждений.

Я никак не могу называть, вслед за Фортунатовым, формой способность слова. Конечно, в научной терминологии можно, а иногда и необходимо изменить традиционные, общеязыковые значения слов; однако все же не следует этим злоупотреблять, и называть «способность к чему-либо» формой кажется мне противоестественным. В применении же к данному случаю такое словоупотребление только запутывает дело.

Это может быть справедливо в отношении предполагавшегося раньше особого периода индоевропейского праязыка, когда якобы существовали как самостоятельные единицы «основы», которые и «оформлялись» разными словообразовательными и формообразовательными элементами. Не говоря уже о том, что существование какого-либо подобного периода языка является более чем сомнительным, и для этого-то постулируемого периода семантически как будто нельзя ставить на одну доску, например, название самого деятеля по действию и приписывание этого действия кому-либо, хотя бы тому же деятелю (3-е лицо).

рией. Другой пример: *прыгать* и *перепрыгнуть*, конечно, не являются формами одного и того же слова, так как имеют разное значение, отвечая совершенно различным вещам в объективной действительности. Напротив, глаголы *перепрыгнуть* и *перепрыгивать* можно считать формами одного и того же слова, так как оба имеют в виду совершенно одно и то же конкретное действие и только подходят к нему по-разному.

Формообразование, как и словообразование, может быть морфологическим (наши склонения, спряжения и т. п.), фонетическим (чередования гласных у так называемых сильных глаголов немецкого языка и многое другое, хорошо всем известное) и может быть сложением (разные сложные формы, элементы которых даже могут не стоять рядом в «речи» (parole)). Это «сложение» следует отличать от «словосложения», о котором говорилось выше: формообразующий элемент всегда является служебным словом или во всяком случае словом, утратившим свое индивидуальное значение самостоятельного слова.

Вопрос о том, что относится к лексике, а что к грамматике, разрешается точно так же, как и в словообразовании: все, что происходит по правилам, будет явлением грамматическим, а все то, что является индивидуальной принадлежностью того или иного слова, будет явлением лексическим и должно быть дано. Спряжение глаголов *есть*, *дать*, *быть* является достоянием словаря, а при глаголе *играть* в словаре должна быть лишь ссылка на тип спряжения.<sup>1</sup> Но спряжение вспомогательного глагола *avoir* во французском должно быть дано в грамматике, в правиле об образовании *Passé composé*.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы подчеркнуть, что надо различать полноценный глагол, например *быть* (*я буду завтра в банке*), вспомогательный глагол (*я буду завтра платить*), когда он входит в сложную форму глагола, и связку (*завтра я буду опять веселый*).

Само собой все это не предрешает вопроса о том, как это удобнее подавать в учебнике, особенно для незрелых. Однако надо помнить, что и дети должны ощущать всякие перспективы в языке. Беда наших школьных учебников грамматики и состоит в том, что там все свалено в одну кучу — собственно грамматика и более или менее случайные выписки из словаря; основные правила данного языка — вещи в общем очень редкие. Надо различать грамматическое описание языка и справочник, который в конце концов всегда может быть заменен хорошо сделанным словарем.

---

<sup>1</sup> Если за «основную» форму глагола считать 3-е лицо мн. ч., то и этой ссылки не надо, так как форма *играть* целиком определяет все дальнейшие формы.

Французские *je, tu, il* целиком относятся к грамматике и должны быть даны в качестве элементов префиксального спряжения (само собой разумеется, что в справочном словаре они должны быть помянуты с соответственными ссылками).

Связки должны быть все перечислены в грамматике (в отделе синтаксиса), но спряжение их часто окажется лишь достоянием словаря и т. д.

Надо всячески подчеркнуть, что при отсутствии четкого формального выражения определить в каждом отдельном случае «речи» (*parole*), с чем мы имеем дело — с морфологическим словообразованием, со сложным словом или с синтаксической группой, иногда бывает необычайно трудно.

Важный отдел грамматики, который никто никогда не оспаривал, — это синтаксис. Но насчет его содержания существуют очень разные мнения. Да это и естественно. Здесь особенно должны давать себя чувствовать различия пассивного и активного аспекта грамматики. При пассивном аспекте приходится исходить из форм слов, исследуя их синтаксическое значение (что и составляло основное содержание синтаксиса в прежние времена). Далее, при пассивном аспекте надо изучать словосочетания и порядок слов в них, определяя их синтаксическое значение, наконец, фразовое ударение и интонацию, отыскивая синтаксическое значение и этих средств выражения.

Я полагаю, однако, что при любом аспекте грамматики все значения форм слов, а в том числе, значит, и синтаксические, должны изучаться в отделе формообразования. Самое форму нельзя определить вне ее значения: ведь только на основании значения можно констатировать, что во фразах *он отпорол рукава* и *он отпорол обшлаг рукава* мы имеем дело с двумя разными формами слов *рукав*. На долю пассивного аспекта синтаксиса приходится, таким образом, отнести изучение синтаксических значений только синтаксических же выразительных средств — порядка слов, сочетаний слов определенных функций, фразового ударения и фразовой интонации.

Что касается активного аспекта синтаксиса, то там исходная точка зрения совсем иная. В нем рассматриваются вопросы о том, как выражается та или иная мысль. Например, как, какими языковыми средствами выражается предикативность вообще? Как выражается описание того или иного куска действительности? Как выражается логическое суждение с его *S* и *P*? Как выражается независимость действия от воли какого-либо лица действующего? Как выражается предикативное качественное определение предмета (в русском языке причастными оборотами и оборотами с *который* и т. д.)? Как выражается количество вещества? По-русски и по-французски разными количественными словами с родительным падежом вещества, а по-немецки — количественными словами и с названием вещества в неизменной форме: *с куском мяса, avec un morceau de viande, mit einem*

*Stück Fleisch; стакан пива, un verre de bière, ein Glas Bier; десять стаканов пива, dix verres de bière, zehn Glas Bier* и т. д.

Из примеров ясно, что активный аспект синтаксиса самый неразработанный в грамматике любых языков. Один Вьютот попробовал сделать что-то в этом роде для французского языка в своей большой книге «*La pensée et la langue*», может быть, не всегда удачно, но всегда интересно.

Никто, конечно, не возражает против наличия фонетики в системе каждого языка, но многие хотят противопоставлять ее как «физиологию речи» или как «физиологию звука» грамматике. В этом сказывается и особая точка зрения на фонетику, как это и выражается в приведенных терминах, и специальное понимание грамматики как «учения о формах». Поскольку противоположение это включает в себе зерно истины, постольку и разномыслие здесь не просто внешнее, а заслуживает некоторого внимания. Едва ли есть надобность здесь долго останавливаться на том, что в языке утилизируются звуки не просто как физические или физиологические явления, а как элементы языка, имеющие или по крайней мере могущие иметь значение. Теория фонем Бодуэна давно осветила этот вопрос и популяризована на Западе под названием *фонологии*.<sup>1</sup>

Фонемы, являясь кратчайшими возможными элементами языка, образуют и его многофонемные единицы — морфемы, слова. Таким образом, фонетика противопоставляется не только грамматике, но и лексике, с этой точки зрения справедливо подчеркивать ее особое положение в системе языка. Однако фонетика вовсе не занимается индивидуальными словами, а исследует общие правила данного языка в области звуков. Она в своем пассивном аспекте выясняет среди пестрого разнообразия произносимого смыслоразличающие звуковые противоположения данного языка; в своем активном аспекте она изучает правила произношения фонем в разных фонетических условиях. Наконец, изучение чередования фонем данного языка обнаруживает реальную базу так называемого этимологического чутья в этом языке. Я имею в виду, конечно, не этимологическое чутье лингвиста, находящее себе опору в исторических фактах и в материале родственных диалектов и языков. Я имею в виду чутье говорящих на данном языке людей, которое является действительным языковым фактором, обуславливающим узнавание морфем и слов как тождественных и в тех случаях, когда фонетического тождества уже нет.

Эти подлинно существующие в данном языке этимологические связи слов должны найти себе отражение в словаре, как

---

<sup>1</sup> Впрочем, такой большой ученый, как М. Граммон, до сих пор иначе смотрит на дело и, в частности, фонологией называет учение о звуках речи как физико-физиологических явлениях. Ко всему этому я надеюсь еще вернуться в специальной статье, а если удастся, то и в особой книге.



об этом говорилось уже выше; но основаны они на системе чередований, характерной для данного языка и изучаемой в фонетике. Использование чередований в словообразовании и в формообразовании должно, конечно, найти себе место в этих отделах.

В фонетике должно, конечно, найти себе место и фонетическое описание ударения и интонации. Ввиду всего вышеизложенного фонетику удобнее всего, как мне кажется, относить к грамматике, хотя она несомненно занимает в этой последней свое особое место.

Против чего надо всячески протестовать — это против отрыва фонологии от фонетики в узком смысле слова, от того, что Бодуэн называл антропофоникой. Некоторым кажется, что можно заниматься фонологией в отрыве от фонетики. Это так же невозможно, как заниматься функцией какой-либо формы в отрыве от конкретных случаев ее употребления в «речи». Нельзя забывать того, что, занимаясь «языком», мы лишь обобщаем частные случаи «речи», которые только и даны в опыте.<sup>1</sup>

Исследовать систему фонем данного языка, определять «семантизированные» (фонологизованные) признаки каждой из них можно только на основе изучения конкретного произношения данного языка и разных не менее конкретных причинных связей между отдельными элементами этого произношения, а для этого надо работать по фонетике вообще, т. е. изучать разные произношения, а также самый механизм этого явления. Только в свете такого изучения будут понятны многие явления фонологии.

Итак, фонетика, словообразование, формообразование и синтаксис — вот четыре отдела, которые как будто исчерпывают содержание грамматики. Однако есть явления, которые, будучи общими, не могут быть относимы к лексике, к словарю (хотя и должны там находить себе отражение), но не подходят ни под один из перечисленных отделов грамматики. Я имею в виду такие категории, как так называемые «части речи».

О частях речи существует целая литература, и я не хочу затрагивать этот вопрос мимоходом. В наших грамматиках учение о частях речи преподносится обыкновенно в виде какой-то классификации слов. Это с какой-то точки зрения удобно, хотя всегда остается некоторое количество слов, которое никуда не подходит. Их относят либо к наречиям, либо к частицам, являющимся таким образом своего рода складочными местами, куда сваливают вперемешку все лишнее, что никуда не подходит.

---

<sup>1</sup> Как я понимаю эти обобщения, разъяснено в моей статье «О тройном аспекте». Здесь я могу только добавить, что эти обобщения обнаруживаются на фактах «речи», которые оставались бы необъяснимыми без предположения наличия этих обобщений.

На самом деле такие понятия, как существительные, прилагательные, глаголы, с одной стороны, совершенно даже несоотносимы с такими понятиями, как союзы, предлоги, — с другой стороны. Первые являются выражением неких «форм» мысли (здесь слово форма употреблено совсем в другом смысле, чем это было выше), тогда как вторые являются просто разрядами слов, имеющими одну и ту же синтаксическую функцию.

*Веселый, веселье, веселиться* никак нельзя признать формами одного и того же слова, ибо *веселый* это все же качество, а *веселиться* — действие. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что содержание этих слов в известном смысле тождественно и лишь воспринимается сквозь призму разных общих категорий — качества, субстанции, действия.

Категории предлогов, союзов и т. п. найдут себе место в синтаксисе, где они будут не только полезны, но и необходимы.

Но не только такие общие категории, как существительные, прилагательные, глаголы, должны найти себе место в особом важном отделе грамматики; туда пойдут и такие категории, как *безличность*. Такие слова, как *светает, смеркается, тошнит, тоска* (предик.), *пора* (предик.), едва ли могут рассматриваться как формы каких-то других слов; но необходимо признать, что они представляют действия<sup>1</sup> и состояния как не зависящие от чьей-либо воли.

Само собой разумеется, что сюда войдет и категория грамматического рода, которая, конечно, в наших языках является в большинстве случаев пережиточной.

Даже русские «виды» — несовершенный и совершенный (но не многократный), по-видимому, должны попасть в этот отдел грамматики, поскольку русского глагола вне вида нельзя и мыслить.

В других языках, особенно, по-видимому, малокультурных народов, найдется немало и других общих категорий, в аспекте которых они привыкли воспринимать действительность. Все это, конечно, требует конкретного исследования этих языков с изъятием всякой призмы как родного языка исследователя, так и вообще языков с традиционной грамматикой, зачастую извращающей истинную перспективу грамматической действительности даже тех языков, для которых она сделана.

Бодуэн предвидел подобный отдел грамматики и называл его лексикологией. К сожалению, этот термин очень привычен в другом смысле, в каком его, может быть, и следует употреблять. Я ничего не вижу лучшего, как назвать этот пятый отдел грамматики «лексические категории».

---

<sup>1</sup> Такие действия естественно было бы назвать процессами, и, может быть, правильно было бы не считать «безличные глаголы» глаголами.

## К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ В СССР ЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И О СОСТОЯНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Докладная записка. 1944)

### 1. ДВА ТИПА ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

§ 1. Прежде всего следует различать два типа владения иностранным языком. Во-первых, — и этот тип кажется всем единственно естественным — можно уметь более или менее свободно говорить на том или ином иностранном языке, а в силу этого и читать на нем нетрудную литературу (но не газету, не трудную научную книгу и не серьезное художественное произведение).

Во-вторых, — и многим кажется это нереальным — можно, не владея практически данным языком, тем не менее быть большим его знатоком и во всяком случае с полным пониманием читать разные трудные тексты на этом языке (подробную типологию знания иностранного языка см. в моей статье, напечатанной в № 11—12 «Советской педагогики» за 1943 г.).

§ 2. Пример первого владения иностранным языком можно было наблюдать в старые времена у наших светских девушек, свободно болтавших, например, по-французски, но зачастую затруднявшихся точно понимать сравнительно нетрудные литературные тексты.

Второй тип владения языком характерен для интеллигенции всего мира, и сейчас, и в прежние времена, и естественно связан прежде всего с изучением мертвых языков.

§ 3. Не требует особого разъяснения тот факт, что первый тип владения иностранным языком не связан с каким-либо умственным развитием. Можно свободно говорить на нескольких языках, как на родном, и быть тем не менее малокультурным, малоразвитым человеком: бессознательное интуитивное владение родным языком или несколькими «родными языками» еще не делает человека образованным. Второй тип владения, т. е. умение читать и понимать трудные книги на двух, а тем более на нескольких языках, подразумевает само по себе более или менее высокую культуру (более подробно об этом см. ниже, § 6 и следующие).

§ 4. Первый тип владения приобретается обыкновенно имитативно от соответствующей иностранной среды, а в порядке обучения — от гувернанток, живущих в доме обучающихся. Подобное владение приобретается особенно легко и свободно, если обучение начинается в раннем детстве.

В массовой школе свободное владение иностранным языком первого типа практически недостижимо. Некоторое приближение к такому владению возможно лишь в специальных школах (о чем см. ниже, § 35).

Второй тип владения вполне достижим и в массовой школе при соблюдении некоторых условий (о которых см. ниже, § 22).

Примечание. Само собой разумеется, что первый тип владения иностранным языком облегчает путь к владению второго типа (см., однако, сказанное в § 7). Этим и объясняется, почему наша старая интеллигенция прибегала в таком широком масштабе к помощи гувернанток.

## II. ПОНЯТИЕ «ФИЛОЛОГИЯ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

§ 5. Знание языка второго типа может быть названо «филологическим», ибо под «филологией» в конечном счете следует подразумевать искусство понимать и толковать трудные тексты, недоступные непосредственному, интуитивному пониманию. Поэтому вполне естественно, что под «филологией» разумеют в первую голову занятия мертвыми языками. Более всего известна так называемая «классическая филология», т. е. занятия древнегреческим и латинским языками.

Однако аналогичные цели и методы их достижения вполне приложимы и к современным языкам, особенно по отношению к их древнейшим памятникам, а также к текстам, почему-либо требующим толкования и объяснения (такого толкования всегда требуют более трудные художественные тексты, особенно стихотворные). В этих случаях говорят о «неофилологии».

«Филологическому» знанию языка обыкновенно противопоставляют первый тип владения языком, как «практическое» знание языка.

§ 6. Отнюдь не следует думать, что филология является старой, изживающей себя наукой (или искусством). Она, конечно, очень древняя наука (бывшая в свое время, может быть, даже единственной); но она нужна теперь так же, как и на заре человеческой культуры. Филология является необходимейшим элементом всякой развитой культуры.

Дело в том, что интуитивно воспринимается только обыденная разговорная речь и тексты, в какой-то мере к ней приближающиеся. Всякая более сложная мысль требует и более сложных форм выражения, которые далеко не всегда схватываются интуитивно. Чем сложнее мысль, тем больше требуется умения для извлечения ее из форм языка. Особенно это справедливо для более тонких художественных текстов, прежде всего стихотвор-

ных. Отсюда становится совершенно понятной необходимость специальной тренировки для глубокого понимания более трудных текстов даже на родном языке. Эта необходимость усиливается для чтения текстов более старых, хотя еще и вполне живых по содержанию. Даже такой прозрачный по форме поэт, как Пушкин, зачастую требует сейчас значительных толкований. Можно показать, что «интуитивно» мы его иногда не понимаем или понимаем превратно. Это зависит от того, что обыденный разговорный язык, который лежит в основе всякого интуитивного понимания, меняется гораздо скорее, чем мы это думаем.

§ 7. Прививать искусство толкования текстов, например даже на Пушкине, трудно, так как в большинстве случаев мы не замечаем, что его надо толковать. Проще и легче всего это делать на трудных иностранных текстах, так как необходимость их толкования непосредственно очевидна. Здесь и лежит громадное образовательное значение филологического изучения иностранного языка. Только через такое изучение можно воспитать филологическое владение родным языком.

§ 8. Филологическое владение родным языком необходимо для практического овладения письменным родным языком. Для того, чтобы хорошо писать, надо научиться осознавать связь оттенков содержания и языковых форм. Поэтому-то широкое филологическое образование так необходимо для всей интеллигенции, начиная от писателей и кончая секретарями всяких учреждений (само собой разумеется, что и инженеры, поскольку они должны писать, например, объяснительные записки к своим проектам, отсюда вовсе не исключаются).

§ 9. Филологическое изучение какого-либо европейского иностранного языка имеет большое значение еще и в том смысле, что оно открывает пути к самостоятельному овладению любым другим европейским языком, так как заключает в себе методику этого дела, что совершенно не свойственно практическому изучению языка.

§ 10. Наконец, нужно подчеркнуть, что на основе филологического владения тем или другим иностранным языком всегда можно развить (при известной помощи) и ту или иную степень практического владения им. В самом деле, опыт показал, что, будучи широко начитанным в беллетристической литературе какого-либо языка, не так уж трудно начать и объясняться на нем, хотя бы и с большими ошибками (чего, однако, в громадном большинстве случаев на практике совершенно достаточно).

§ 11. Но филология имеет еще и специальное образовательное значение. В силу диалектического единства формы и содержания мысль наша находится в плену у форм языка, и освободить ее от этого плена можно только посредством сравнения с иными формами ее выражения в каком-либо другом языке (в качестве самого простого иллюстративного примера можно ука-

зять на несовпадение следующих рядов: *теплая вода, горячая вода, кипяток* в русском языке; *eau tiède, eau chaude*, и только, во французском языке; *lauwarmes Wasser, warmes Wasser, heisses Wasser* в немецком языке).

Из этого, между прочим, видно, что филологическое образование должно лежать в основе всякого философского, начиная с самых элементарных его форм. Филологическое изучение иностранного языка, в основе которого лежит перевод на родной язык (т. е. сравнение двух лингвистических систем), является наилучшей школой диалектики, как это показано в моей статье в № 5—6 «Советской педагогики» за 1942 г.

### III. ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ РОЛЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

§ 12. В связи со всем сказанным в первых двух разделах становится ясным, почему в школе изучению греческого и латинского языков до самого последнего времени придавалось совершенно исключительное образовательное значение.

§ 13. Что касается живых иностранных языков, то целью их изучения в школе было всегда «практическое» знание этих языков. Это получило особенно яркое выражение в последние лет пятьдесят в так называемой «прямой методике» изучения иностранных языков. Эта методика и ее всякие последующие варианты основной целью преподавания ставили и ставят интуитивное овладение разговорным языком, а в дальнейшем такое же интуитивное чтение книги.

§ 14. В связи с этим ни о каком общеобразовательном значении изучения живых иностранных языков как учебного предмета не могло быть и речи. Больше того, стали раздаваться голоса о «вреде изучения иностранных языков» как предмета, требующего много времени у учащихся и дающего мало пищи для развития ума.

### IV. ПОЛОЖЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

§ 15. С приходом Советской власти «классическая система» в школе (т. е. изучение древних языков), как одна из основ общего образования, была отменена. Что касается новых иностранных языков, то, вероятно, по причинам, указанным в § 14, они были сильно сокращены, так что в учебном плане нашей школы остался лишь один иностранный язык при очень малом числе часов.

§ 16. Таким образом число часов на лингвистические предметы в советской школе сильно сократилось.

В различных училищах (т. е. даже в школах без латыни) оно составляло в прежние времена у нас (а за рубежом и сейчас)

около одной четверти общего числа часов учебного плана, начиная с 1-го класса (т. е. с 4-го года обучения). В нашей средней школе по учебному плану 1942/43 учебного года оно составляет около  $\frac{1}{9}$  общего числа часов учебного плана, если даже считать, начиная с 5-го года обучения, поскольку иностранный язык у нас начинается с 5-го класса (если же считать тоже с 4-го года обучения, как это естественно для четкого сравнения, то около  $\frac{1}{11}$ ).

По проекту улучшенного учебного плана средней школы, составленному в Наркомпросе на 1944/45 учебный год, общее число часов на иностранный язык составит около  $\frac{1}{8}$  общего числа часов учебного плана, считая с 4-го года обучения, где предположено начинать язык.

§ 17. Если вспомнить еще и то обстоятельство, что в старой школе разными путями давалось некоторое умение читать по-церковнославянски (а следовательно, в общем и по-древнерусски), то приходится констатировать, что наша советская школа оказалась почти что совершенно лишенной элементов лингвистического образования вопреки многовековой традиции, почти во всем мире сохраняющей свою силу и сейчас.

## **V. СОСТОЯНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ**

§ 18. В настоящее время институт гувернанток почти что исчез, а вместе с ним исчезает и то широко распространенное «практическое» владение иностранными языками, которое было столь характерным для старой русской интеллигенции.

Что касается школы, то она и в прежние времена не давала хорошего «практического» владения иностранными языками. В наше же время она, в силу сильного сокращения часов в учебных планах и в силу падения культуры иностранных языков в обществе, дает еще меньше в этом отношении.

§ 19. В результате в стране ощущается резкий недостаток лиц, практически вполне владеющих тем или иным иностранным языком: нет кадров для дипломатических и торговых агентов, нет вообще достаточного количества людей, могущих свободно общаться с иностранцами; далее, нет кадров людей, могущих переписываться с заграницей; наконец, исчезла широкая категория просто читателей иностранной литературы.

В связи с последним обстоятельством мы почти утратили знание и понимание культуры европейских народов. Само собой разумеется, что это может только вредно отражаться на развитии нашей собственной культуры. Военную опасность такого незнания мы как будто начинаем осознавать (ср., например, то значение, которое придается языкам в суворовских школах); но, конечно, этого недостаточно.

С другой стороны, при таком незнании языков нечего и думать об активном, сознательном воздействии нашей культуры и идеологии на зарубежную.

Что касается лиц с филологическим (т. е. практически с классическим) образованием, то их осталось совсем незначительное количество среди быстро сходящей со сцены старой по возрасту интеллигенции.

Наша молодежь и интеллигенция среднего возраста вовсе не имеет у нас филологического образования. По всей видимости, в связи с этим большинство нашей интеллигенции характеризуется в громадном большинстве случаев вопиющим неумением написать грамотное (стилистически) письмо, составить толковую докладную записку и т. п. Не так бросается в глаза, но не менее характерным для нашей молодежи является неумение самостоятельно читать книги.

## **VI. О МЕРАХ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ У НАС ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

§ 20. В связи со всем сказанным необходимо принять два ряда мер для восстановления у нас лингвистического образования: а) меры, обеспечивающие в системе нашего общего образования определенную дозу филологической зарядки для всех, и б) меры, обеспечивающие формирование достаточных кадров лиц, которые практически владели бы тем или другим иностранным языком (что, конечно, не должно лишать их общего филологического образования).

### **1. Меры к поднятию филологического образования**

§ 21. а) Усиление иностранного языка в школе. При этом следует довести число часов в семилетке на первый иностранный язык до 20 и начинать его с 4-го класса (5+5+5+5 или лучше 6+6+4+4), что составит около  $\frac{1}{6}$  общего числа часов соответственных классов. Что касается старшего звена средней школы, то там необходимо продолжить первый язык при 2-х часах в неделю (5+5+5 или 6+5+4), что составит в общем немного больше  $\frac{1}{6}$  общего числа часов соответственных классов.

Это увеличение общего числа часов иностранного языка в средней школе (в общем на 14 часов) должно произойти, конечно, за счет всех прочих предметов, которые при реформе учебного плана после революции получили часы «закона божьего» и часы иностранных языков и расширились зачастую без достаточных внутренних к тому оснований (во всяком случае это справедливо относительно некоторых предметов). Надо не скрывать от себя трудности введения всех предметов в старые



рамки часов: практически это почти невозможно (ср. поэтому сказанное в § 25).

**Примечание.** Получающийся в результате учебный план был бы фактически продолжением плана старых реальных училищ (но, конечно, без его внутреннего пафоса), противоположный плану классических гимназий.

§ 22. б) Изменение цели изучения живых иностранных языков в общеобразовательной школе. Со всей решительностью следует сделать это изучение «филологическим» и отнюдь не «практическим». В соответствии с этим должна быть коренным образом пересмотрена вся методика преподавания иностранных языков в школе.

В этом лежит гвоздь всего дела, смысл всей той радикальной реформы, которую нам предстоит проделать и которая сводится к тому, чтобы образовательные функции «классической филологии» (частью вовсе не осознанные, частью осознававшиеся совершенно превратно) передать «неофилологии» (ср. § 37 и § 38).

**Примечание.** Надо помнить, что латинский язык долгое время изучался как единственный в сущности литературный язык (национальные языки только терпелись), далее как язык науки и лишь в XIX в. просто по вековой традиции. Что касается вопроса о сущности его образовательного значения, то он и не ставился почти что вплоть до наших дней.

§ 23. В результате этих двух мероприятий семилетка будет выпускать людей, которые в случае необходимости при сравнительно небольшом усилии смогут более или менее читать книги на изучавшемся ими языке (во всяком случае книги по своей специальности), а десятилетка будет готовить людей, которые при небольшом дополнительном и притом самостоятельном усилии не только смогут читать более или менее всякие книги на изучавшихся ими языках, но будут также в состоянии вполне самостоятельно научиться читать книги на любом европейском языке.

§ 24. в) Введение в программы средней школы по русской литературе прохождения древне- и среднерусских памятников в подлинниках, для чего следует отвести особые часы для филологического изучения древнерусского литературного языка.

§ 25. Весьма возможно, что для обеспечения твердых результатов всей реформы придется перейти к 11-летней школе с обязательным доведением числа часов иностранного языка не менее как до  $\frac{1}{5}$  общего числа часов соответственных классов (ср. сказанное в § 16).

Это диктуется и филологизацией преподавания иностранных языков (что потребует значительных усилий со стороны учащихся не столько в классе, сколько в часы самостоятельной работы), и естественным ростом некоторых предметов за последнее время, например физики и, особенно, химии, и, наконец, снижением среднего культурного уровня семьи школьников, есте-

ственно вытекающим из демократизации у нас среднего образования (не следует также забывать, что в Западной Европе к вузу готовит 11-летняя, а то и 12-летняя школа). Кроме того, желательно, конечно, выпускать из средней школы людей, уже могущих без всяких дополнительных усилий более или менее свободно читать книги на изучающихся ими языках.

§ 26. г) Обеспечение филологизации преподавания в педвузах иностранных языков, для чего необходимо увеличить их курс до 5 лет впредь до того времени, когда они будут получать более подготовленных абитуриентов (ср. § 35).

В этом же плане необходимо усиление издательской деятельности по иностранным языкам. В частности, совершенно необходимо как можно скорее составить и издать большие толковые словари трех главных европейских языков и снабдить ими всех преподавателей этих языков, а также всех студентов соответствующих педвузов.

§ 27. д) Усиление филологической подготовки преподавателей русского языка и литературы, для чего может быть также придется временно увеличить их обучение до 5 лет: лица, кончающие сейчас педвузы, вовсе лишены этой подготовки, так как серьезно не занимаются ни одним языком, кроме родного. Да и в своей области они вовсе не начитаны ни в старорусских текстах, ни в церковнославянских. Совершенно необходимо, между прочим, чтобы они совершенно свободно читали по-украински и по-белорусски.

Примечание. Это последнее необходимо не только с политической и педагогической точек зрения, но и для того, чтобы русские преподаватели родного языка не оказались в худшем положении по сравнению со своими украинскими и белорусскими товарищами, которым одинаково доступны богатства и родной и русской литературы.

§ 28. е) Обеспечение лучшей подготовки аспирантов-филологов. Это касается особенно русистов, филологическое образование которых начинается сейчас лишь со времени их аспирантуры: за это время они должны научиться свободно читать по-французски и по-немецки, филологически изучить латинский и греческий и, наконец, научиться читать на всех славянских языках, — и все это кроме непосредственной работы по специальности.

§ 29. ж) Всяческое поощрение научного издания памятников древне- и среднерусской письменности. Это имеет не только научное и общеобразовательное значение, но и высокопатриотическое.

§ 30. з) Возобновление изучения греческого и латинского языков, которое у нас, можно сказать, совершенно заглохло. Для этого надо создать специальные школы (по одной в больших университетских городах), где бы в старших классах изучался хоть один древний язык при сокращенной программе некоторых других предметов.

При этом необходимо пересмотреть традиционную методику преподавания этих языков, где много усилий всегда тратилось на активное усвоение письменного языка (ср. знаменитые *extemporalia*). Необходимо упростить и сильно сократить проходимость при этом грамматику, все подчинив основной задаче — сознательному пониманию текстов.

**Примечание.** Филологическое изучение латинского языка совершенно необходимо для «неофилологов»-западников, для историков-западников, для юристов. Греческий язык нужен для русистов и для будущих византинистов (специальность, которую мы должны культивировать больше, чем какие-либо другие западноевропейские народы).

§ 31. и) Развитие издательства толковых словарей на иностранных языках (типа *Lagousse*), которыми надо снабжать всех оканчивающих семилетку.

§ 32. к) Издание в самых широких масштабах иностранной беллетристики, классической и современной, так, чтобы сделать ее доступной самым широким читательским кругам — только таким путем можно поднять читательский вкус и читательскую требовательность. Особенно важна в этом смысле французская литература, где культура формы в искусстве вообще никогда не снижалась.

§ 33. л) Издание малых толковых словарей родного языка для снабжения ими всех оканчивающих среднюю школу.

## **2. Меры к поднятию «практического» знания языков в стране**

§ 34. а) Организация различных краткосрочных курсов иностранных языков (6-месячных, годичных, двухгодичных и т. п.).

Типология этих курсов должна быть тщательно разработана и приспособлена для разных случаев жизни. Здесь надо только подчеркнуть, что должны быть предусмотрены и такие курсы, которые дают филологическое знание языка или помогают его расширению и углублению.

§ 35. б) Создание специальных средних школ (ср. наши суворовские школы), где бы иностранный язык начинался со 2-го года обучения при максимальном числе часов и при специально разработанной методике. Желательно, чтобы эти школы были закрытого типа, по крайней мере с 5-го класса обучения, и чтобы в них создавалась соответственная «иностранная атмосфера» (само собой разумеется, что установка на «практическое овладение» тем или другим иностранным языком отнюдь не должна устранять в этих школах филологического элемента образования). В этих школах, кроме того или другого языка, должны проходиться география и история страны, соответствующей изучаемому языку, а также должно быть усилено преподавание страноведения вообще.

в) Необходимо широкое развитие практики годичных командировок в страну изучавшегося языка, но эти командировки

отнюдь не должны даваться для начального изучения языка, а лишь для шлифовки тех навыков, которые были получены дома, а также для знакомства с жизнью данного народа во всех ее аспектах.

§ 36. Педвузы иностранных языков, институты для подготовки дипломатических агентов, работников заграничных торгпредств и т. п. должны комплектоваться из абитуриентов этих специальных школ.

Избыток подобных абитуриентов, как бы он ни был велик, отнюдь не должен никого пугать, так как решительно во всех отраслях жизни наличие людей, хорошо практически владеющих тем или иным иностранным языком, может оказаться не просто полезным, а абсолютно необходимым.

## VII. ВОПРОС О ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

§ 37. Система классического образования несомненно изживает даже на Западе, где она имеет глубокие исторические корни. В этом смысле особенно знаменательны соответственные высказывания ныне покойного проф. F. Vipot, бывшего долгое время главой французских филологов. Объективно показательным является увеличение числа типов общеобразовательной школы во всех странах. Несмотря на это, в Европе все же, по видимому, нигде не помышляют о полном изъятии лингвистических элементов из системы общего образования. Но везде педагогическая мысль стоит сейчас перед вопросом о том, в чем же состоит специфическая образовательная роль этих элементов. Пока на этот счет нет ясного общепризнанного мнения, и моя теория, положенная в основу настоящей записки и изложенная полнее всего в статье «Общеобразовательное значение иностранных языков и место их в системе школьных предметов» (напечатана в № 5—6 «Советской педагогики» за 1942 г.), является едва ли не самой четкой мотивацией необходимости лингвистических элементов в школьной общеобразовательной системе. Ближе всего к моему мнению подходят настроения французских «неофилологов».

§ 38. Одна Америка пошла совсем по другому пути и на практике почти что выкинула лингвистику из системы общего образования. Но есть основания думать, что сама американская педагогическая мысль не совсем довольна своей школой и во всяком случае констатирует у своих учеников нелюбовь к чтению, а также иногда и неумение читать вообще. Американская школа стремится восполнить этот недостаток совершенно исключительной организацией библиотечного дела, которое втягивается в школьную систему. Но едва ли на этих путях можно исправить коренную ошибку американской школы — забвение филологии. Наш опыт как будто подтверждает это.

---

## РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

### НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ МОИХ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ЛУЖИЦКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

(Приложение к книге «Востоchnолужицкое наречие», т. I. Пг., 1915)

1. Описательная фонетика всякого языка должна заключать в себе, кроме описания фонем и других более сложных фонетических единиц, также исследование о действующих в данный момент психофизиологических факторах, работающих на разрушение наличной фонетической системы.

2. Описательная фонетика должна подробно исследовать психологические связи, существующие между отдельными фонемами и особенно сравнительную интенсивность этих связей.

3. В описательной «грамматике» должны изучаться лишь более или менее живые способы образования форм, слов и их сочетаний; остальное — дело словаря, который должен содержать, между прочим, и список морфем.

4. Надо отличать образование обозначений новых понятий и образование обозначений оттенков одного и того же понятия или связанных с ним побочных представлений («Abweichungsnamen» и «Übereinstimmungsnamen» Dittrich'a).

5. В каждой группе обозначений оттенков одного и того же понятия имеется слово (или форма), которое признается основным.

6. За особые системы форм следует почитать лишь такие, в которых по крайней мере большинство форм являются характерными для данной системы.

7. Формами следует, между прочим, почитать такие сочетания слов, которые, выражая оттенок одного основного понятия, являются несвободными, т. е. в которых неизменная часть сочетания, выражающая оттенок, употреблена не в собственном значении. Здесь, как и везде в языке (в фонетике, в «грамматике» и в словаре), надо помнить, что ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говорящих — оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и колеблющееся и должно больше всего при-

влекать внимание лингвиста, так как здесь именно подготовляются те факты, которые потом фигурируют в исторических грамматиках, иначе говоря, так как здесь мы присутствуем при эволюции языка.

8. Необходимо различать между «значением» слов, форм, сочетаний слов и их «употреблением» (не совпадают с «*usuelle und occasionelle Bedeutung*» Пауля).

9. В синтаксисе изучаются способы образования групп слов и групп групп.

10. Надо отличать два типа связи между словами и группами слов: апперцептивный и ассоциативный (более или менее «*geschlossene und offene Verbindungen*» Вундта).

11. В «европейских» языках (а вероятно, и во многих других) самым могучим средством выражения связи между словами и группами слов является «интонация», «фразировка» в самом широком смысле слова. Этим, вероятно, и объясняется падение форм в этих языках. К сожалению, эта область, в высокой степени важная для понимания языка как выразительного средства, остается до сих пор совершенно не изученной.

12. Учение о «сказуемости», как об основном элементе человеческой речи, могло бы быть выделено из синтаксиса, так как ее выражение не нуждается обязательно в сочетании слов.

13. В словаре должна быть обозначена сознаваемая говорящими морфологическая делимость слов, а также должны быть указаны для каждого слова все ассоциированные с ним слова (не только родственные этимологически, но и по значению), причем надо быть очень осторожным, чтобы не приписывать говорящим на данном языке индивидуумам своих ассоциаций и своего знания истории языка.

14. Слова, хотя бы и одинаковые по форме и этимологически тождественные, но сознаваемые говорящими разными и неродственными, не должны помещаться вместе.

15. «Речения», выражающие одно понятие, должны фигурировать в качестве отдельных слов.

16. Классификация слов должна бы отражать естественные связи между ними у говорящих, а потому существующие идеографические словари, построенные на априористических началах, не являются идеалом. Алфавитные же словари лишь практически удобны, но вовсе не отражают объективного положения вещей.

17. Всякий монолог является в сущности зачаточной формой «общего», нормализованного, распространяющегося языка; язык «живет» и изменяется главным образом в диалоге.

18. По-видимому, в мужаковском говоре сохраняются какие-

то смутные реминисценции о бывших количественных или интонационных различиях.

19. «Nebenton» нижнелужицкого и во всяком случае мужаковского надо понимать так, что первый слог фонетического слова является музыкально-восходящим, а предпоследний имеет динамическое ударение.

20. Слоги безударные в мужаковском сокращаются и склонны к качественной редукции.

21. Слоги музыкально-восходящие, по-видимому, могут объективно сокращаться, не теряя своей определенности.

22. Взрыв конечных смычных характеризуется в мужаковском истечением воздуха при поднятом мягком нёбе.

23. Интервокальные *j*, *v* склонны произноситься в лужицком как *jj*, *vv* («*j*, *ц*»).

24. *j* перед *i* в неударенном слогe не воспринимается в мужаковском.

25. *г* после и перед согласными выделяет в мужаковском гласный переходный элемент.

26. Предлоги составляют в мужаковском одно слово со словом, к которому относятся, что обусловлено, вероятно, образованием особой категории соответственных наречий.

27. Двойственное число является в мужаковском еще вполне живой категорией, что обуславливает и более конкретное понимание единственного.

28. «Инфинитив» в мужаковском не является живой глагольной формой, и роль глагольного *Nominativus*'а играют другие формы, особенно отглагольное существительное, которое оказывается в значительной мере оглаголенным.

29. Перфективность и имперфективность у глаголов в мужаковском играет второстепенную роль по сравнению с количественными различиями.

30. В мужаковском следует различать два склонения в единственном числе и одно — в двойственном и множественном; пять производительных глагольных классов и четыре непроизводительных.

31. Дифференцированное подлежащее отделяется от сказуемого «паузой сказуемого».

32. Прасл. [ ] перед твердыми переднеязычными в мужаковском, по-видимому, давало *a*, которое, однако, в большинстве случаев не сохранилось; [ě], не давшее *a*, смешалось с продолжателями прасл. [e, ь], что и обнаруживается после отвердевших позднее *s*, *z*, *c*.

33. В мужаковском *e* всякого происхождения после «мягких», но не перед «мягкими», и *o* после губных и заднеязычных, но не перед губными и заднеязычными, перешли в начале слова в *e*

(«i») и ó («8»), что объясняется, вероятно, развитием переходных звуков.

34. Динамическое ударение на предпоследнем слоге развивается в мужаковском на наших глазах и едва ли имеет исторически что-либо общее с польским ударением.

35. Сохранение старого, а также признаки, повторяющиеся в соседних родственных языках, не являются доказательными для существования эпохи единства данной группы диалектов.

36. Объединение «среднего пограничного говора» проф. Муки со слепянским в одно целое не выдерживает критики ни с географической, ни с лингвистической точек зрения.

37. Слепянский говор вместе с мужаковским являются ясно обособленными географически как от верхнелужицкого, так и от нижнелужицкого.

38. Лингвистически приходится безусловно отделять мужаковский говор от слепянского.

39. Мужаковский говор невозможно относить по лингвистическим признакам ни к верхнелужицкому, ни к нижнелужицкому, а потому приходится видеть в нем остатки самостоятельного восточнолужицкого наречия.

40. Говоры Якубицы и Мегизера не подходят ни под один из живых говоров.

41. Существование эпохи общелужицкого единства трудно доказуемо, так как единственная доказательная и несомненно древняя общая черта — девокализация *r* после глухих — может быть объясняема общей этнической подпочвой.

42. То, что называется словом, у двуязычных состоит из трех элементов: представления значения и двух звуковых представлений. Если один из этих двух элементов слабеет случайно, временно или систематически, то другой естественно его замещает.

43. Так как мир значений разделен неодинаково для каждого языка, то естественно происходят при такой сложной конструкции «двуязычного слова» изменения в первоначальном объеме и содержании терминов, причем это происходит, конечно, взаимно, но зависит от специальной сферы применения каждого данного языка.

44. Фонетика, конечно, будет одна, и, конечно, языка первоначального. Однако, и это очень важно, известная дрессировка во втором языке может заставлять осознавать в первом те или другие оттенки фонем, т. е. в конечном счете содействует распаду фонем и увеличению их числа в звуковой системе данного языка. Это обстоятельство может уже в свою очередь вызвать падение некоторых различий, ставших ненужными.

45. В области морфологии двуязычность ведет к уоднообразию во всевозможных направлениях и к созданию простой



и ясной системы. Все неживые типы элиминируются, так как у носителей нет достаточного языкового опыта для запоминания уклоняющихся форм.

46. Раз упростившись и избавившись от лишнего балласта, полученные системы держатся очень твердо и хорошо сохраняются.

47. Возможно, что ярко осознанные различия тоже хорошо сохраняются.

48. Морфологические новообразования под влиянием другого языка приходят синтаксическим путем.

49. Естественное словообразование нарушается, особенно в языке с более бедным запасом готовых терминов.

---

## О ПОНЯТИИ СМЕШЕНИЯ ЯЗЫКОВ

(Яфетический сборник, V, 1925, стр. 1—19. Напечатано на французском языке под названием «Sur la notion de mélange des langues»)

§ 1. Понятие смешения языков — одно из самых неясных в современной лингвистике, так что возможно его и не следует включать в число лингвистических понятий, как это и сделал А. Мейе (Bull. S. L., XIX, p. 106).<sup>1</sup>

В самом деле, просматривая некоторые статьи, трактующие вопрос о смешении языков, мы склонны думать, что термины «Sprachmischung», «gemischte Sprache» были введены только в результате реакции на известные представления прошлого века, когда язык рассматривался как некий организм и когда охотно говорили об органическом развитии языка как о единственно законном, в противоположность неорганическим нововведениям, рассматриваемым как болезни языка. Для молодого поколения лингвистов этот этап является уже полностью пройденным; однако мы еще помним, какое большое значение придавалось в свое время как чистоте расы, так и чистоте языка. Правда, широкая публика и в настоящее время находится еще во власти этих громких слов.

При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что Шухардт в своем большом фактическом материале, свидетельствующем о влиянии славянского языка на немецкий, с одной стороны, и о влиянии славянского языка на итальянский, с другой,<sup>2</sup> мог утверждать, что нет языка, который бы не был смешанным, хотя бы в минимальной степени, и совершенно понятно, что Бодуэн де Куртене смог опубликовать в 1901 г. (ЖМНП) статью под заглавием «О смешанном характере всех языков».

---

1. См. также «La méthode comparative en linguistique historique». Oslo, 1925, стр. 72 и сл. особенно стр. 83.

2 «Slawo-deutsches und Slawo-italienisches». Graz, 1885. Я не излагаю здесь истории вопроса, так как многие работы мне недоступны, я излагаю только мои собственные мысли, ссылаясь лишь на то, что мне кажется полезным для этого.

Наконец, мы видим, что Вакернагель в своей интересной статье «Sprachtausch und Sprachmischung» (Götting. Nachr., Geschäftl. Mitt., 1904, S. 112) ясно говорит, что своим изложением он только хотел подчеркнуть те изменения во взглядах, которые произошли в его время в языкознании.

§ 2. Если присмотреться к фактам, приводимым различными авторами, трактующими о смешении языков, то можно заметить, что они все или почти все могут быть разделены на три категории (само собой разумеется, что, если рассматривать их с других точек зрения, можно было бы прийти и к другим классификациям):

1) Заимствования в собственном смысле слова, сделанные данным языком из иностранных языков.

2) Изменения в том или ином языке, которыми он обязан влиянию иностранного языка. Примеры таких изменений многочисленны; достаточно привести в качестве примера французское *haut*, происходящее из латинского *altus*, которое получило свое придыхательное *h* под влиянием германского синонима, соответствующего немецкому *hoch*. Форма французского названия местности *Evêque-mont* также является результатом германского влияния, ср. немецкое *Bischofsberg*: по-французски мы ожидали бы *Mont-Evêque* (пример взят из уже упомянутой статьи Вакернагеля). Ср. также кальки латинского, немецкого и славянского языков, в конечном счете все сделанные по греческим образцам, как *conscientia*, *Gewissen*, *совесть* и мн. др. Ср. также развитие употребления атрибутивного родительного падежа в русском языке под влиянием иностранных языков и т. д.

3) Факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения какого-либо языка. Повседневная жизнь изобилует индивидуальными фактами такого рода; но гораздо более редки факты такого же порядка, получившие социальную значимость, т. е. те ошибки языка, которые сделались в известной среде общепризнанной нормой. Чаще всего, ввиду наличия настоящей нормы усваиваемого языка, остаются лишь более или менее распространенные ошибки. Я не смог бы привести вполне убедительного примера такого языка, примера, который я был бы в состоянии проконтролировать сам. Однако своеобразные факты такого рода многочисленны, достаточно сослаться на вышеназванную работу Шухардта.

Что касается многочисленных креольских и других подобных им говоров, то они, правда, тоже принадлежат к этой категории, но с той оговоркой, что в их образовании участвовали также носители того языка, которым другие стремились овладеть, худол хорошо приспособляя его к потребностям и возможностям этих последних (см. по этому поводу чрезвычайно существенные разъяснения Шухардта в его работе «Die Sprache der Saramakaneger in Surinam». Verh. d. K. Akad. v. Wet. te Amsterdam,

Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel XIV, № 6, 1914, стр. III и сл., с которой я знаком только по Hugo Schuchardt-Brevier).

§ 3. Из этого перечисления фактов следует, что мы имеем полное право, ввиду того, что они все появляются только там, где два языка находятся в непосредственном контакте, объединить их все под общей рубрикой, дав ей какое-нибудь название, например смешение языков = Sprachmischung.

Но вряд ли есть в этом какая-нибудь польза, так как, если факты второй категории в принципе идентичны фактам третьей, ибо часто базируются на процессах, подобных тем, которые имеют место внутри одного и того же языка, то заимствования в собственном смысле слова обязаны своим происхождением совсем иному процессу.

Во всяком случае из совокупности этих фактов нельзя, по-видимому, вывести ничего, что могло бы поколебать существующие взгляды на связи, возможные между языками. По-видимому, во всех этих случаях нельзя сомневаться в том, что это за язык, внутри которого произошли те или иные изменения, тем или иным образом вызванные другими языками. Виндиш в своей статье «Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter» (B. d. K.-S. G. W. Phil.-hist. Cl., B. 49, 1897, S. 113) указывает, что, как бы ни был сильно смешан язык, всегда есть какой-то один язык, который составляет его основу.

Итак, может быть, лучше было бы заменить термин «смешение языков» термином «взаимное влияние языков», который ничего не содержит в себе в отношении описываемых фактов, в то время как слово «смешение» предполагает в некоторой мере, что оба языка, находясь в непосредственном контакте, могут в равной степени участвовать в образовании нового языка.

§ 4. Однако к этому последнему заключению можно легко прийти, рассматривая факты «взаимного влияния языков» с другой точки зрения, чем это было сделано выше. Особенно, когда мы имеем дело с языками, история которых нам неизвестна. Анализируя такой язык, можно иногда констатировать, что его элементы восходят к различным языкам. Пока число его существенных элементов, восходящих к одному из этих языков, намного превышает число элементов, заимствованных из всякого другого языка (но оно может быть меньше общего числа всех элементов, заимствованных из этих других языков), мы констатируем только заимствования и влияние иностранных языков и говорим, что изучаемый язык является продолжением того, который дал наибольшее число элементов. Но если случайно оказывается, что два языка передали тому или иному языку равное число элементов, одинаково важных при обычном использовании языка, то мы были бы в затруднении сказать, продолжением какого из этих языков является изучаемый язык.

Быть может, это соображение и лежит в основе примечания о смешанных языках Setälä (внизу стр. 16 его статьи «Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen». Helsingfors, 1915).

Шухардт в своей статье «Zur methodischen Erforschung der Sprachverwandschaft» («Revue Internationale des Etudes Basques») VI, 1912) пишет: «Если бы мы, например, установили, что (в баскском языке) имеется равное число равных по значению хамитских и кавказских элементов, мы все же не знали бы, влились ли первые во вторые или наоборот, или и те и другие развились из одного общего основного языка». В своей статье «Sprachverwandschaft» («Sitzungsberichte der Akademie der Wiss.», Bd. XXXVII, Berlin, 1917, S. 526) Шухардт говорит вообще: «Далее, не следует начинать с вопроса: принадлежит язык *a* языковой семье *A* или нет? Мы никогда не можем быть заранее ограничены двумя возможностями», и он сравнивает языки с картинами, которые дают различные изображения в зависимости от того места, с которого мы на них смотрим. Сам вопрос о том, является ли тот или иной элемент языка исконным или заимствованным, не считается Шухардтом важным: «это различие и несущественно, и не может быть проведено» (первая из цитированных статей, стр. 2 отдельного оттиска).

Все это показывает нам понятие смешения языков в новом свете, если предположить, что язык может иметь несколько источников.

§ 5. Мейе в статье, появившейся в 1914 г. в журнале «Scientia» (см. теперь «Le problème de la parenté des langues» в его книге «Linguistique historique et linguistique générale», 1921), со всей силой восстал против этой точки зрения. Он показал со всей свойственной ему четкостью, что мы всегда имеем основание спросить себя, каков тот язык, продолжением которого является данный язык, иначе говоря, искать язык-основу. Причина этого в том, что явление непрерывности языка, неточно называемое родством языков, есть факт чисто исторический; он основывается исключительно на наличии воли говорящего пользоваться определенным языком, либо сохраняя его по возможности без изменений, либо видоизменяя его, либо пополняя его заимствованными элементами.<sup>1</sup> Никогда говорящие на двух языках не

---

<sup>1</sup> Хотя это может показаться странным, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что, когда Шухардт говорит на стр. 528 своей статьи «Sprachverwandschaft»: «В сущности история языка и история его носителей покрывают друг друга», его основная мысль здесь та же, что и у Мейе, однако в иной связи. Ср. также: «Языковые факты не находятся ни в какой необходимой связи друг с другом, по своей внутренней форме язык может быть связан с одним, по внешней форме — с другим языком. Характеристика этих отношений (в вопросе о родстве языков) не может быть выведена из самого языка, а только из его связи с говорящими» («Baskisch-hamitische Wortvergleichen» в журнале «Revue Internationale des Etudes Basques», VII, 1913, стр. 4 отдельного оттиска). Те же мысли мы находим у Крёбера,

теряют, по мнению Мейе, чувства различия тех двух языков, которыми они пользуются. Вот почему Мейе не согласен с выражением «смешение языков», как могущим навести на мысль о языке, имеющем два источника.

§ 6. Прежде всего, мне кажется, мы имеем право, не рискуя быть заподозренными Шухардтом в материализации языка (см. уже цитированную статью «Sprachverwandtschaft», начало примечания внизу стр. 522), утверждать, что языки вообще образуют более или менее обособленные системы (по крайней мере в нормальном случае) и хорошо ощущаемые как таковые говорящими, что, конечно, обнаруживается только при случае. Эти системы могут подвергаться различным изменениям под влиянием различного рода факторов, но ни в коем случае не разрушаются вследствие этого. Из этого следует, что Мейе вполне прав, допуская непрерывность самих языков, а не только их элементов.

§ 7. Кроме того, Мейе справедливо утверждает, что всякий, кто хочет заниматься историей какого-либо языка, вынужден считаться с родственными ему языками, т. е. что сам ход истории языка основан на чувстве непрерывности языка у говорящих. И все это находится в соответствии с социальной сущностью языка, так как каждый язык является языком какой-нибудь более или менее строго ограниченной социальной группы.<sup>1</sup> Чувство непрерывности языка увеличивается или уменьшается прямо пропорционально к самосознанию той социальной группы, органом которой он является. Ослабление связей внутри группы является одним из условий полного исчезновения чувства непрерывности языка, что в конечном счете я не считаю невозможным, по меньшей мере в принципе (см. ниже, § 9, 15).

Все крупные исторические описания различных языков, расцениваемые всегда как национальные труды, основаны в сущности на этом чувстве непрерывности языка, но почти никогда не принимают этого в расчет, по крайней мере явно. Однако более чем вероятно, что ускорение изменений, происходящее в ходе истории языка, всегда связано каким-либо образом с ослаблением социальных связей.

§ 8. С другой стороны, мне кажется, что есть два обстоятельства, на которых Мейе не остановился или на которых он недостаточно настаивал.

1) Быть может, представляет некоторый интерес оставить в стороне носителей языка и рассмотреть только историю всех

---

часто цитируемого Шухардтом: «И в конце концов, родство языков является, в основном, этнологической, т. е. исторической проблемой, по существу не связанной с языковой теорией» («The Determination of Linguistic Relationship», «Anthropos», 1913, стр. 392), цитата из Шухардта в конце той же страницы, откуда взята предыдущая цитата.

<sup>1</sup> Я употребляю везде термин «социальная группа» в самом широком смысле слова.

элементов какого-либо языка. Составленное таким образом историческое описание вместо одной точки отправления имело бы их несколько.<sup>1</sup> В этом нет большого преимущества в том случае, когда язык явно представляет собой нечто единое; но если он испытал глубокое влияние других языков, то от выявления роли всех этих элементов общая картина много выиграла бы.

И это тем более верно, что чувством непрерывности языка у говорящего руководит главным образом материальная сторона языка. В моих диалектологических поездках я всегда наблюдал, что говорящие очень склонны устанавливать звуковые сходства слов и гораздо меньше те сходства, которые относятся к области семантики. Отсюда вытекает, что сами лингвисты, под гипнозом внешней стороны языковых знаков, меньше принимают в расчет то, что Шухардт называет внутренней формой (*inleге Form*). Между тем есть много языков, в которых «внешняя форма» и «внутренняя форма» восходят к различным языкам, тогда как в обычных описаниях внешняя форма всегда берет верх над внутренней, и таким образом та часть языка, которая восходит к языку, давшему внутреннюю форму, часто остается в тени.

2) Раз родство языков, основывающееся на чувстве непрерывности языка у говорящих, признается как исторический факт, то становится очевидным, что оно может быть доказуемо только историческими методами. Сравнительное языкознание тут может быть не при чем. В тех случаях, когда язык явно представляет собой единое целое, вопрос этот не представляет затруднений. Но там, где мы имеем дело с языком, имеющим в своем составе разнородные элементы, лингвистические методы недостаточны. Правда, у нас есть ряд случаев, когда мы в состоянии пользоваться не только лингвистическим методом, но также и историческим, и вполне возможно извлечь путем наблюдения этих случаев какие-то эмпирические правила; согласно этим правилам мы вправе допустить в определенных случаях незасвидетельствованный исторический факт чувства непрерывности языка, развивающегося в том или ином направлении; но эти правила слишком суммарны и годны только для языков с более или менее одинаковой структурой.

§ 9. Наконец, разве мы не можем представить себе такие социальные условия, при которых возможна была бы утрата чувства непрерывности языка? Допустим, что мы имеем два племени одинакового значения, но говорящих на разных языках, потерявших всякий контакт с родственными племенами и вынужденных жить вместе, образуя одну социальную группу. Оче-

---

<sup>1</sup> Быть может, это отвечает мысли Бодуэна де Куртене, высказанной им в конце цитированной выше статьи, касающейся создания сравнительных грамматик не родственных языков, но имеющих много общих элементов.

видно, что в этом случае из социальных связей внутри каждого племени останется только язык, обычаи и т. д. Но так как всякий член новой группы будет заинтересован в том, чтобы его понимали не только свои, но также представители другого племени, он выучит кое-как язык этих последних. А так как ни один из этих двух «чистых» языков не будет иметь преимуществ над другим и в нем не будет никакой практической пользы, ввиду полного ослабления социальных связей внутри каждого племени, то выживут только эти плохо выученные языки, которые будут представлять собой смесь из обоих первоначальных языков, взятых в разных соотношениях. Исключив все слишком индивидуальное, а следовательно, трудное<sup>1</sup> (например, слишком сложную грамматику), из этой смеси образуют единый язык, приспособленный к потребностям новой социальной группы, язык, не продолжающий для говорящих ни один из двух первоначальных языков.

Процесс был бы тем же, что и при образовании креольских говоров, с той только разницей, что здесь действительно имелся определенный язык, которому хотели подражать, между тем как в воображаемом выше примере проявлялось бы мало заботы о том, чтобы подражать тому или иному языку ввиду их одинаковой социальной значимости, и решающим фактором тут была бы только легкость понимания.

Все это не имеет целью и не должно ни в чем уменьшить значение существующих сравнительных грамматик, но только допускает, что мы всегда можем оказаться перед задачей, которую мы не смогли бы разрешить посредством наших сравнительных методов; но не потому, что не было бы соответствий, которые можно было бы установить, а потому, что из этих соответствий мы не смогли бы заключить об историческом факте — чувстве говорящих, что они продолжают тот или иной язык. Возможно, что во всех этих случаях мы обречены на вечное незнание; но возможно также, что, по крайней мере в известных случаях такого рода научное исследование найдет в конце концов способы доказательства там, где в настоящее время это кажется нам невозможным.

Впрочем, эти соображения, по-видимому, не ускользнули от Мейе, по крайней мере в их практических последствиях, так как он ясно говорит в цитированной статье, что сравнительные методы не применимы к специальным языкам и к языкам, не имеющим более или менее сложной грамматики.

§ 10. Все это чистая теория, но она нас возвращает к вопросу о смешении языков, который мы потеряли из виду. Дело в том, что ответ на этот вопрос, как, впрочем, и на все вопросы

---

<sup>1</sup> См. по этому поводу также мою книгу «Восточнолужицкое наречие». 1915, стр. 194.



этого рода, мы должны искать в самом индивиду, помещенном в те или иные социальные условия.

Это давно уже увидел Шухардт: «Вопрос о смешении языков, который самым тесным образом связан с вопросом двуязычия, довольно сложен и может быть выяснен только с помощью психологии» («Zug afrikanischen Sprachmischung». «Das Ausland», 1882, S. 868, цитирую по Hugo Schuchardt-Brevier, S. 129). Мейе в часто цитированной статье также направил свои поиски в эту сторону, ибо чувство и желание говорить на том или ином языке могут находиться только в индивиду. Но он не довел изучение этих психологических фактов до конца, ограничившись несколькими замечаниями, которые, хотя и являются ценными, далеко не исчерпывают вопроса.

§ 11. Ясно прежде всего, что всякое взаимное воздействие языков требует наличия людей, которые хотя бы в незначительной степени были двуязычными. Поэтому надо начинать с рассмотрения вопроса о том, что такое двуязычие. Наблюдение показывает, что есть два вида сосуществования двух языков в индивиду.

1) Оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта. Это очень частый случай у людей, выучивших иностранные языки от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого. Поэтому им никогда не представлялось случая переводить с иностранного языка на свой родной и обратно, ибо предполагалось, не без основания, что гувернантка может быть хорошей только тогда, когда она не понимает ни слова из родного языка детей. Таким образом привыкают пользоваться иностранным языком, не перемешивая его с родным языком. Поэтому оба языка образуют в данном случае две автономные области в мышлении лиц, ставших двуязычными таким путем. Обученные этим способом люди, хоть и говорят довольно бегло на обоих языках, но им всегда очень трудно найти эквивалентные термины двух языков: нужные слова приходят им на память только с трудом. Они могут объяснить, что значит та или иная фраза, то или иное слово, но всегда затрудняются их перевести.

Тот же результат получается при обильном чтении без помощи словаря, он является также идеалом так называемого натурального метода преподавания языка. Этот метод, между прочим, годен для коммивояжеров, для туристов и вообще для всех тех, кто должен войти в непосредственные сношения с иностранцами, но он не имеет абсолютно никакого значения для умственного развития учеников, детей или взрослых, ибо обучение языкам имеет образовательное значение только тогда, когда оно приучает к анализу мысли посредством анализа средств выражения. А этого достигают, только изучая параллельно языки и всегда отыскивая их соответствующие элементы. Только тогда

обучение языкам становится мощным орудием формирования ума, высвобождая мысль путем сравнения языковых фактов из оков языка и заставляя учеников замечать разнообразие средств выражения и их значения до самых тонких оттенков. Все это возможно только при применении переводческого метода.

2) Обучаясь языку именно при помощи этого последнего метода, приходят, вероятно, самым естественным образом к такому состоянию, когда два каких-нибудь языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций, что составляет второй вид сосуществования языков. Любой элемент языка имеет тогда свой непосредственный эквивалент в другом языке, так что перевод не представляет никакого затруднения для говорящих. Примеры такого положения вещей нам хорошо известны, ибо это случается более или менее всегда, когда мы обучаемся языку по какому-нибудь учебнику, выучивая отдельные слова с их значениями и грамматические правила, применяемые исключительно в хорошо подобранных примерах.

Во время моих занятий лужицкими диалектами я имел случай близко наблюдать двуязычное население этого типа, говорящее одновременно на немецком и лужицком языках. Я смог констатировать, что любое слово этих двуязычных лиц содержит три образа: семантический образ, звуковой образ соответствующего немецкого слова и звуковой образ соответствующего лужицкого слова, причем все вместе образует такое же единство, как и слово всякого другого языка. Говорящие, правда, сознают, что одна форма лужицкая, а другая немецкая, но они очень легко переходят от одной к другой, так что взаимные подстановки в тех случаях, когда одна из двух форм слабеет по какой-либо причине, всегда остаются незамеченными. Быть может, даже было бы неточно сказать, что люди, о которых идет речь, знают два языка: они знают только один язык, но этот язык имеет два способа выражения, и употребляется то один, то другой.

Ясно, что этот второй вид сосуществования языков образует благоприятную почву для смешения языков. Можно даже сказать, что два сосуществующих таким образом языка образуют в сущности только один язык, который можно было бы назвать смешанным языком с двумя терминами (*langue mixte à deux termes*).

§ 12. Если присмотреться теперь ближе к тому, что происходит в обоих случаях, то понятие смешения языков станет еще более отчетливым и окажется совсем иным, чем понятие заимствования.

Не следует настаивать на том факте, что всякая социальная группа, обладающая особыми понятиями материального или отвлеченного порядка, создает для них специальные термины, которые отсутствуют так же, как и самые понятия, в других группах.

Известно также, что мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры. Так, например, понятие температуры воды: по-французски говорят *l'eau chaude, tiède, froide*; по-немецки — *heisses, warmes, lauwarmes, kaltes Wasser*; по-русски — *кипяток* (который не обязательно будет «кипящей водой», но также и не «кипяченой водой»), *горячая, теплая, холодная вода*. Мы видим, что нет абсолютно эквивалентных слов для того, что *не холодно*. Возьмем еще понятие «принимать пищу»: по-французски говорят — я привожу только самые обычные слова — *manger, avaler, dévorer, prendre son repas*; по-немецки — *essen, fressen, speisen*; по-русски — *есть, кушать, жрать*. Мы видим, что эти слова тоже не равнозначны. Французское *aimer*, русское *любить* соответствуют более общему понятию, чем немецкое *lieben*, так как нельзя, например, *Weissbrot lieben*. В общем, можно сказать, что нет абсолютно тождественных понятий в разных языках, а потому и перевод, как мы знаем это из опыта, никогда не бывает точным.

Более того, известно, что слова разных языков, даже для более или менее тождественных понятий, часто бывают различны по своим вторичным ассоциациям: *chauve-souris, Fledermaus, летучая мышь* обозначают один и тот же предмет, но представляют его в известной мере различно. Даже самые простые слова могут, обозначая один и тот же предмет, быть различными только потому, что они принадлежат к разным языкам, один из которых менее привычен, чем другой.

§ 13. Когда два языка существуют независимо у индивида, он имеет возможность, говоря на одном, черпать из словаря другого языка слова, которые кажутся ему нужными; но из всего предшествующего следует, что тогда он заимствует из другого языка прежде, чем слова, те понятия или их оттенки, ту их окраску, наконец, которые кажутся ему необходимыми по какой-либо причине. Это очень частый случай заимствования. Оно необходимо, когда речь идет о совершенно новом понятии — какой-нибудь предмет, изобретение, мысль и т. д., и оно может иметь место даже там, где знание языка, из которого заимствуют, минимально. Но оно также имеет место, когда в этом нет непосредственной необходимости. Дело в том, что оно очень облегчает ход мысли. Когда мы хотим передать свою мысль самым точным образом, мы часто бываем очень довольны, что можем употребить иностранное слово, которое точно соответствует тому, что мы хотим сказать, как, например, *Ursprache* немцев во французском языке. Если вы хотите избежать иностранного языка, вы часто должны вернуться вспять и перестроить всю мысль, а это раздражает. Вот почему язык наших газет кишит ненужными варваризмами, проистекающими от спешки, от недостатка вкуса.

филологического образования в настоящем смысле этого слова и усидчивости в работе. Но мы часто склонны вплетать в нашу речь иностранные слова и по другим мотивам: то слово кажется нам особенно выразительным, то красивым, то лишенным неприятных ассоциаций (например, для неприличных вещей) и т. д. и т. д. Случаи могут быть более или менее часты, в зависимости от разных факторов, но это будут всегда заимствования слов, частей фраз или целых фраз.

§ 14. С другой стороны, ясно, что, для того чтобы образовать систему ассоциаций, т. е. смешанный язык с двумя терминами, оба языка, сосуществующие в индивидуе, должны иметь все семантические элементы общими, т. е. они обязаны придать единообразие своему пониманию мира и сделать все свои понятия более или менее тождественными не только в отношении их содержания, но также, и может быть даже главным образом, в отношении их объема. Мы видим, как это происходит каждый день с лицами, которые недостаточно хорошо знакомы с каким-нибудь иностранным языком. Например, русский человек сказал бы по-французски *j'ai reçu la permission, j'ai reçu un rhume* вместо *j'ai obtenu une permission, j'ai attrapé un rhume*, потому что русский глагол *получать*, соответствующий французскому *recevoir*, имеет совсем общее значение без всякого специального оттенка. Зато малоискушенный француз смог бы прекрасно сказать *я варю хлеб = ich koche Brot*, очень мало заботясь о том, что *варить = kochen* и *печь = backen* являются двумя четко противоположными понятиями как в немецком языке, так и в русском, потому что французское *cuire* соответствует более общему понятию.

Не стоит задерживаться на этого рода фактах, так как они слишком хорошо известны. К тому же уже цитированная книга Шухардта «*Slawo-deutsches und slawo-italienisches*» изобилует ими. В лужицком наречии, о котором я упоминал выше и возможно точное описание которого я дал в книге «*Восточнолужицкое наречие*» (1915), придание единообразия понятиям доведено до возможного предела.

Я не буду говорить о словах, которые в моем словаре (неопубликованном) я был вынужден все время снабжать немецкими эквивалентами, возьму в качестве примера предлоги: луж. *dla* = нем. *wegen* (*mojegla = meinetwegen*); луж. *za* = нем. *für* (примеры: «я должен шить для барышни», «конфеты на одну копейку», «вилы для навоза», «один раз в течение дня»); луж. *wot* = нем. *von* (примеры: «из березового дерева», «из Мужакова», «сбивать яблоки с веток», «от голода», «я говорил о своем брате», «он думает о чем-то», «его несут четверо», и т. д., см. цитированную книгу, стр. 87 и сл.).

Но это положение вещей вызывает много других изменений, например тенденцию создавать парные термины везде, где есть различные понятия; таким именно образом лужицкий язык полу-

чил артикль, в котором он совсем не нуждался, своего рода перфект, который является калькой немецкого перфекта и т. п. Очевидно, что всего этого не было бы в случае независимого сосуществования языков. Весьма возможно, что немецкое противопоставление arbeiten — erarbeiten обязано тому же фактору, т. е. оно скалькировано с соответствующих славянских противопоставлений.

Последним результатом образования смешанного языка с двумя терминами является тенденция перестроить все выражения, для того чтобы оба слова были как можно более сходны в отношении внутренней формы. Примеры этого многочисленны. Они общеизвестны.

§ 15. Все эти изменения не являются заимствованиями, но они обязаны своим появлением процессу, который с полным правом мы можем назвать смешением языков. Но этот процесс на этом не останавливается: он идет дальше. В единствах с двумя терминами в языке, который мы назвали «смешанным языком с двумя терминами», может всегда случиться, что один из терминов слабеет по той или иной причине, сначала у индивида, затем в социальной группе. Другой термин, оставшись один, выполняет тогда обе функции, но, что является особенно любопытным, говорящие теряют представление о его происхождении. Я мог констатировать в бесконечном множестве случаев, что говорящие не узнают происхождение немецких слов в лужицкой речи, когда они не имеют лужицких дублетов.

Итак, можно было бы предположить, что различие между немецким и лужицким, в общем очень четкое, может совершенно исчезнуть с потерей всех дублетов. Во всяком случае было бы очень интересно увидеть, что произошло бы, если бы существовали только двуязычные лица, т. е. если бы не было говорящих только по-немецки или только по-лужицки. К сожалению, это не поддается эксперименту, и я не смог бы сказать, есть ли сейчас где-нибудь такие благоприятные для наблюдений социальные условия, которые могли бы заменить его.

Наблюдения над двуязычной средой в обычных условиях показывают, что в смешанных языках с двумя терминами считается, что речь принадлежит тому языку, на котором выражены грамматические связи. Например, анекдотическая фраза на «петербургском» немецком языке: «Bring die банка mit варенье von der полка im чулан» ощущается как немецкий язык.

§ 16. Другой вопрос, который интересно было бы исследовать, состоит в том, чтобы узнать, каковы условия развития смешанного языка с двумя терминами. Некоторые наблюдения могут быть сделаны на любом, ибо каждый из нас «многоязычен», если можно так выразиться, так как все говорят различно в различной среде. Как правило, эти различные «диалекты» сосуществуют в нас совершенно независимо друг от друга, и мы иногда заимствуем из них слова шутки ради или для того, чтобы сделать

более выразительным наш язык, всегда стараясь взять их, так сказать, в кавычки. Я очень хорошо помню тот эффект, который производило в литературных беседах Кони слово «всамомделишный», заимствованное им из детского языка: оно очень нравилось именно неожиданностью заимствования и потому, что оно хорошо передавало оттенок. Но бывают случаи, когда границы одной среды, самой по себе четкой, недостаточно установлены для нас, как, например, для матерей больших семей, где много детей. Они всегда вынуждены употреблять то детский язык, то язык взрослых, и у них устанавливается в известных условиях нечто вроде смешанного языка с двумя терминами, так как они вплетают часто в свой язык детские слова, не заботясь о том, чтобы взять их в кавычки. Но все это довольно неясно и требует большого количества точных наблюдений.

§ 17. Какие заключения можно вывести из всего предыдущего? Прежде всего следующее: мне кажется, что во взаимном влиянии языков следует различать два совершенно различных процесса: заимствование и смешение языков;<sup>1</sup> первое основывается на двуязычии, как я предложил бы назвать независимое сосуществование двух языков у одного и того же индивида, а второе основывается на смешанном языке с двумя терминами. Само собой разумеется, что в действительности есть всегда промежуточные формы, и чаще всего оба процесса перекрещиваются. Но это ни в коем случае не может поколебать сделанное выше существенное различие.

Затем, по-видимому, развитие двуязычия или смешанного языка с двумя терминами зависит: 1) от способа изучения второго языка и 2) от установления границ употребления обоих языков.

Смешение языков не предполагает обязательно потери чувства непрерывности данного языка.

По-видимому, некоторые изменения зависят главным образом от смешения языков, как, например, изменения «внутренней формы», но в большинстве случаев из наличия разнородных элементов данного языка ничего нельзя заключить о характере процесса, который их объединил. Все это нуждается еще в изучении на базе хорошо проверенных и гораздо более многочисленных фактов.

§ 18. Наконец, мы не видим, чтобы все это могло поколебать в чем-либо результаты, полученные существующими сравнительными грамматиками, на которые ссылается Мейе в своих статьях о родстве языков («Linguistique historique et linguistique géné-

---

<sup>1</sup> Я предпочитаю этот термин термину Н. Я. Марра скрещение языков, так как последний продолжает — как это признали Шухардт (стр. 519 цитируемой статьи) и Мейе («Linguistique historique et linguistique générale», стр. 102) — нездоровый образ так называемого родства языков: язык «дочь» это перерождение языка «матери», а не ее отпрыск, и, будучи родственником, не имеет «отца», даже метафорического.

gale», 1921). Например, нельзя ничего сказать по вопросу о том, можно ли узнать, основан ли современный английский язык на смешении языков или нет. Но это не имеет никакого значения, ибо, так как английская грамматическая система, в том виде как она сейчас существует, продолжает германскую систему, можно предположить на основании опыта, что чувство непрерывности в английском языке было всегда связано с германскими элементами, а поэтому мы должны признать английский язык германским.

Но, с другой стороны, я не вижу, что бы изменилось, если бы было доказано, что был момент, когда языковые предки англичан потеряли чувство непрерывности вследствие развития смешанного языка с двумя терминами с исключением всякого другого языка.<sup>1</sup> Тем не менее английский язык фигурировал бы в сравнительной грамматике германских языков. Что касается исторической грамматики английского языка, нужно было бы только внести некоторые изменения в изложение, ибо, считая английский язык германским языком, мы все же должны дать историю его негерманских элементов. Во всем этом выиграло бы понимание историко-лингвистического процесса самого по себе, так как до сих пор им почти не занимались: все внимание языковедов было сосредоточено на установлении соответствий языковых элементов между двумя родственными языками или между двумя последовательными состояниями одного и того же языка.

---

<sup>1</sup> Это маловероятно для английского языка, но не совсем невозможно вообще, если вспомнить о том, что было сказано в § 15 о потере говорящими сознания происхождения слов в случае отсутствия дублетов. К сожалению, совсем нет примеров этому, по крайней мере мне известных, и, возможно, они никогда не существовали.

---

## ОПЫТ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ

(Известия АН СССР, № 3. Отд. литературы и языка, 1940)

Хотя человечество очень давно начало заниматься составлением словарей разных типов, однако какой-либо общей лексикографической теории, по-видимому, не существует еще и до сих пор. Предлагаемый здесь опыт такой теории не рассчитывает целиком заполнить этот пробел,<sup>1</sup> а имеет в виду лишь наметить некоторые основы будущей теории, в связи с чем он естественно распадается на ряд отдельных этюдов.

### ЭТЮД I. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЛОВАРЕЙ<sup>2</sup>

Одним из первых вопросов лексикографии является, конечно, вопрос о различных типах словарей. Он имеет непосредственное практическое значение и эмпирически всегда как-то решался и решается. Между тем в основе его лежит ряд теоретических противоположений, которые и необходимо вскрыть.

#### 1. Противоположение первое: словарь академического типа — словарь-справочник

Прежде всего надо обратить внимание на противоположение академического, или нормативного, словаря и словаря-справочника. Термины эти несколько условны, и их ближайшее содержание выяснится только из дальнейшего изложения. Однако и из них можно догадываться, что в первом случае мы имеем

---

<sup>1</sup> И это тем более, что автор настоящего опыта не знаком intimately с богатой лексикографией некоторых «восточных» языков.

<sup>2</sup> Дальнейшие этюды предполагается посвятить природе слова, его значению и употреблению, его связям с другими словами того же языка, благодаря которым лексика каждого языка в каждый данный момент времени представляет собою определенную систему, и, наконец, построению словарной статьи в связи с семантическим, грамматическим и стилистическим анализом слова.

Данный этюд является развитием доклада, прочитанного на заседании Отделения литературы и языка АН СССР 27 сентября 1939 г.



дело с такой книгой, где прежде всего спрашивается о том, можно ли в том или другом случае употреблять то или другое уже известное слово, а во втором — с книгой, куда заглядывают исключительно с целью узнать смысл того или другого слова.

К словарю-справочнику обращаются прежде всего, читая тексты на не вполне знакомых языках или тексты о незнакомых предметах и специально трудные тексты на иностранных языках (или, что в сущности то же самое, древние тексты на родном языке), особенно с непривычным содержанием. К нормативному (или академическому) словарю обращаются для самопроверки, а иногда и для нахождения нужного в данном контексте слова. Вспомним по этому поводу Пушкина:

Но панталоны, фрак, жилет,  
Всех этих слов на русском нет;  
А вижу я, винюсь пред вами,  
Что уж и так мой бедный слог  
Пестреть гораздо меньше б мог  
Иноплеменными словами,  
*Хоть и заглядывал я встарь*  
*В Академический Словарь.*

Примером словаря первого рода может служить любое издание словаря Французской академии (*Dictionnaire de l'Académie Française*); в качестве словаря второго рода можно указать на неоконченный Словарь русского языка, издававшийся в Ленинграде нашей Академией наук под редакцией А. А. Шахматова и его преемников с 1897 по 1937 г., а также на Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам — И. И. Срезневского.

На первый взгляд может показаться, что различие этих двух типов словарей покоится исключительно на их разном практическом назначении. Однако это было бы слишком одностороннее суждение. В основе словарей первого рода лежит единое (реальное) языковое сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени; в основе словарей второго рода вовсе не лежит какого-либо единого языкового сознания: слова, в них собранные, могут принадлежать разным коллективам, разным эпохам и вовсе не образуют какой-либо системы. Все это легко можно иллюстрировать на двояком значении термина «русский язык»: с одной стороны, он обозначает современный русский литературный язык, который, хотя и имеет весьма сложную структуру, однако все же является вполне единым (всякое ограничение последнего положения повело бы к нелепому выводу, что можно по-разному понимать Горького, Маяковского, Шолохова и других современных писателей),<sup>1</sup> а с другой — всю со-

---

<sup>1</sup> Единство понимания, о котором здесь говорится, подразумевает, конечно, прежде всего абсолютное владение данным литературным языком и несколько не колеблется тем фактом, что всякая система выразительных средств, образующая литературный язык, носит на себе тот или другой от-

вокупность русских говоров не только в их настоящем, но и в их прошлом (я не хочу здесь останавливаться на трудности определения того, что следует подразумевать под словами «русские говоры»).

Чаще всего в основе словарей-справочников нашего времени лежит идея нации, более или менее сужаемая и расширяемая как географически, так и исторически. Так был задуман *Deutsches Wörterbuch* бр. Гриммов (первый том которого вышел в 1854 г., но который не закончен еще и до сих пор): он основан на текстах, начиная с XVI в., текстах, зачастую плохо понятных для современного читателя. По этому же пути в общем пошел ряд больших многотомных словарей европейских языков нашего времени: недавно оконченный большой Оксфордский словарь английского языка (*A new English Dictionary on historical Principles founded mainly on the materials collected by the Philological Society* edited by James — A. H. Murray, в 20 громадных полутомах); огромный, но еще не оконченный словарь голландского языка (*Woordenboek der Nederlandsche Taal*), начавший выходить с 1882 г., и не менее большой и также неоконченный словарь шведского языка (*Ordbok ofver Svenska Språket ut gifven af Svenska Akademien* — первый том в 1898 г.).

В основе всех этих словарей лежат тексты, также начиная с XVI в. В том же духе составлен *Ordbog over det Danske Sprog grundlagt of Verner Dahlegur*, основанный на текстах, начиная с 1700 г. (вышло 19 томов, и он близок к окончанию).

Однако не всегда идея нации является основой словаря-справочника: мы имеем замечательный, в свое время оказавший неоценимые услуги науке и практике, многотомный Опыт словаря тюркских наречий — В. В. Радлова (том первый в 1893 г.), возможность которого базируется на большой близости турецких языков, могущих рассматриваться как диалекты единого, однако несуществующего языка. Приблизительно на подобной основе строятся часто этимологические словари: этимологические словари славянских языков (Миклошича, Бернекера), этимологические словари романских языков (Дица, Кёртинга, Мейер-Любке).

В конце концов возможны и другие принципы, по которым бы объединялись слова в словаре-справочнике. Так, к типу словарей-

---

печаток идеологии господствующих классов и что она обыкновенно бывает приспособлена прежде всего для выражения именно этой идеологии: надо помнить, что Ленин и Сталин при помощи и такой системы выразительных средств умели для всех понятно выразить совершенно другую идеологию. Наконец, это единство не колеблется и тем фактом, что на всяком литературном языке может быть общепонятно изображено взаимонепонимание представителей разных классов, говорящих, по-видимому, на одном и том же языке (чему имеется много примеров хотя бы и в дореволюционной русской литературе). Эти кажущиеся противоречия проистекают от недостаточно четкого различения языка, т. е. системы выразительных средств, и использования этой системы в процессах коммуникации (к этим вопросам я надеюсь еще вернуться в другой связи).

справочников надо отнести всевозможные технические словари, где объединены слова разных специальностей, представители которых зачастую друг друга не понимают. Наоборот, словари какой-нибудь одной определенной специальности, например медицинский словарь, словарь водников, военный словарь и т. п., могут быть словарями академического типа, если туда не собраны слова разных эпох или слова местного употребления, неизвестные всем специалистам: внутри системы такой лексики и происходит словотворчество в области данной специальности.

Энциклопедические словари являются по существу словарями-справочниками, так как, подобно общим техническим словарям, не имеют установки на лингвистическое единство своего словника.

Областные словари, если в них собраны просто слова данного языка, не употребляющиеся в литературном языке, конечно относятся к типу словарей-справочников. Таков Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением АН в 1852 г. До известной степени таков и совершенно замечательный *Glossaire des patois de la Suisse Romande*. . . — rédigé par L. Gauchat, J. Jeanjaquet, E. Tappolet, I (не вся буква А), 1924—1933.

Но могут быть и другие областные словари, которые объединяют слова, свойственные определенному району. Таковы Словарь областного олонецкого наречия — Куликовского, 1898 г., Словарь областного архангельского наречия — Подвысоцкого, 1885 г., и др.; таковы многочисленные и зачастую превосходные областные словари разных других языков.<sup>1</sup> Подобные словари могли бы быть словарями академического типа, если бы представляли полную картину местной лексики, свойственной данному району в целом, не выключая слов, общих с литературным языком (эти слова ведь тоже входят в систему данного областного языка). Исследователю, конечно, бывает трудно отличить здесь признаваемое заимствование из литературного языка от «искони» общего слова или от вполне укоренившегося заимствования; но эта трудность не меняет принципиальной стороны дела.<sup>2</sup> Очень часто, однако, и такие словари просто регистрируют

---

<sup>1</sup> Новейшие и лучшие немецкие словари перечислены, правда, совсем по другому поводу в статье проф. В. М. Жирмунского «Методика социальной географии» в сб. «Язык и литература», т. VIII, 1932; французские диалектологические словари перечислены в книге Albert Dauzat «Les patois», 1927, в особой библиографии, которою заканчивается книга; итальянские — в К. Jaberg und J. Jud «Der Sprachatlas als Forschungsinstrument», 1928, в особом приложении к V главе, которое озаглавлено «Auswahl von Wörterbüchern der Mundarten Italiens, der romanischen und italienischen Schweiz».

<sup>2</sup> Тут надо заметить, что говорить о каком-либо определенном областном «языке», а следовательно, и о соответственном словаре академического типа можно только тогда, когда этот язык сознается говорящими в той или иной мере отличным и от литературного языка, и от местных говоров, т. е. когда он является в той или другой мере общим языком и когда есть какая-либо признаваемая, хотя бы и очень неопределенная его норма (о понятии нормы см. подробнее в конце настоящего раздела).

встречающиеся в данном районе местные слова, а потому остаются в общем словарями-справочниками (по-немецки они называются *Idiotikon*'ами).

Само собой разумеется, что словарь определенного говора, если он не дифференциальный (т. е. не регистрирует только отличия от литературного языка), будет принадлежать к нормативному, или академическому, типу.

Может показаться, что словарь языка того или другого писателя должен быть словарем академического типа. Действительно, надо думать, что действенный словарь того или другого писателя, вообще или в определенный период его творческой деятельности, представляет собою систему (хотя это как раз то, что показать и является очередной научной проблемой); но нельзя быть уверенным, что образующая систему лексика встречается в произведениях писателя. Как раз то, от чего писатель отталкивается и без чего нельзя понять смысла его творчества, могло и не попасть в его писания. Кое-что могло не попасть и совершенно случайно. Кроме того, во всяком произведении всегда много безразличного материала (который я назвал когда-то «упаковочным»), который, конечно, никак не входит в индивидуальную систему (в стиль) данного писателя. Таким образом, словарь языка писателя — который обязательно должен быть исчерпывающим — является принципиально словарем-справочником (между прочим, настолько важным для построения общего словаря, что многим филологам казалось невозможным построение этого последнего без предварительного создания исчерпывающих словарей к писателям) и лишь может послужить материалом для выяснения «индивидуального словаря» данного писателя.<sup>1</sup>

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что словарь-справочник характеризуется тем, что его слова не образуют цельной единой выразительной системы, или принадлежат к разным — хронологически или географически — человеческим коллективам, или представляя собой лишь часть слов, образующих эту систему. Слова в академическом, или нормативном, словаре, наоборот, служат для взаимопонимания членов определенного человеческого коллектива, составляют единую сложную ткань, единую систему, которая, к сожалению, бывает обыкновенно очень плохо отражена, а то и вовсе не отражена в существующих словарях этого типа. Вопросу о том, в чем выражается система, иначе говоря единство лексики данного языка, будет посвящен один из следующих этюдов.

---

<sup>1</sup> Само собой разумеется, что «индивидуальное» писателя базируется на социальном: иначе мы не могли бы понять это «индивидуальное», не могли бы оценить «стиль» писателя (считаю нужным предупредить, что со страхом употребляю слово «стиль» ввиду его многосмысленности, но полагаю, что тот скромный смысл, который я в него влагаю, ясен из контекста).

Обратим теперь внимание на некоторые затруднения при определении социальной основы в словарях академического типа. Они проистекают из того, что в понятие литературного языка входит не только разговорный язык, но прежде всего соответственный письменный (взаимоотношению их тоже будет посвящен специальный раздел одного из следующих этюдов, так как совсем не так просто разрешается вопрос о том, который из них является ведущим). Безусловно, единым является разговорный язык, определяемый исключительно единством коллектива в определенный момент времени. С письменным языком дело обстоит сложнее. Мы читаем и понимаем литературные произведения и предшествующих эпох. Однако многое из того, что мы прекрасно понимаем и что мы даже не воспринимаем как архаизм, мы уже не только не скажем, но даже и не напишем. Так, фраза из «Капитанской дочки»: *Все мои братья и сестры умерли во младенчестве* — никого, конечно, не шокирует, а между тем никто так не напишет: напишут попросту — *умерли еще маленькими* или немного в более строгом стиле — *умерли в раннем возрасте* (все это применительно к данному контексту: вне его могло бы быть множество и других способов выражения). Эти различия покрываются понятиями активного и пассивного запаса слов данного литературного языка<sup>1</sup> (различение, которое, к сожалению, не делается ни в каких словарях). Чем же определяется пассивный словарный запас данного литературного языка? — Начитанностью соответственного человеческого коллектива, тем кругом произведений, которые обязательно читаются в данном обществе. Вовсе не косностью тогдашних академиков объясняется то обстоятельство, что в 1847 г. Второе отделение императорской Академии наук составило Словарь церковнославянского и русского языка: оно не могло поступить иначе, поскольку старшее поколение того времени грамоте училось еще по часослову и псалтыри. Для него церковнославянские слова были пассивным словарным запасом, который как-то входил в систему лексики русского языка и в той или другой мере определял значение и оттенки разных русских слов.<sup>2</sup>

Но вот к концу столетия начитанность в церковнославянских текстах исчезает совершенно, и Второе отделение императорской Академии наук в 1895 г. выпускает под редакцией акад. Я. К. Грота первый том уже Словаря русского языка «в том виде, как он образовался со времен Ломоносова» (стр. VI предисловия). И действительно, все мы, нынешнее старшее поколе-

---

<sup>1</sup> Само собой разумеется, что слово *младенчество* не стало вообще пассивным: оно стало менее обыденным, чем оно было, по-видимому, во времена Пушкина; круг употребления его сузился.

<sup>2</sup> Сказанное подтверждается рассуждениями предисловия к Словарю 1847 г. на стр. XI о неудобстве и преждевременности «решительного разделения русского языка с церковнославянским, потому что стихии того и другого доселе еще тесно связаны между собою».

ние — если и не всегда с большим увлечением — читали и Ломоносова, и Державина, и Карамзина.

Наконец, в 1938 г. Академия наук СССР предполагает издавать Словарь современного русского литературного языка, «начиная от пушкинской поры и до наших дней (стр. II проекта Словаря современного русского литературного языка, 1938). И это совершенно правильно, ибо едва ли наша молодежь читает и перечитывает каких-либо писателей допушкинского периода.

У французов период вполне актуальной литературы значительно больше: он начинается с XVII в. На Корнеле, Расине, Мольере, Лафонтене и других классиках воспитывается до сих пор всякий француз, приобщающийся к литературному языку (хотя для безусловного понимания классиков оказался необходим учебный словарь),<sup>1</sup> и вся современная литература и ее язык могут быть до конца понятны только при каком-то сопоставлении их с литературой и языком XVII в., от которых они так или иначе отталкиваются.

При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что дело не исчерпывается одним различием активного и пассивного запаса слов в литературном языке (которое, конечно, обязательно должно быть отражено в словаре академического типа): в актуальной литературе встречаются слова со значениями, во все не свойственными современному литературному языку, а иногда и просто противоречащими современному употреблению (примеры см. ниже). Как поступать в этих случаях в словарях академического типа? Из того, что французам понадобился для этого даже особый словарь, что этим отличиям языка прошлого надо специально учить, вытекает с достаточной очевидностью, что в жизни они нормально не замечаются и что, следовательно, они не играют никакой определяющей роли в нашем языке: их как бы нет.<sup>2</sup> А отсюда вытекает, что в словаре академического, нормативного типа этим вещам вовсе нет места, что в таком словаре нельзя давать, например, всего Пушкина, а только то из Пушкина, что не противоречит сегодняшнему употреблению. И это потому, что эти противоречия никак не входят в систему современного языка, являясь, с нашей точки зрения, не архаизмами, а неправильностями, непонятными ошибками.

Несколько французских примеров, взятых из Кэру (см. выше):

---

<sup>1</sup> Ср. Gaston Cayrou. Le Français classique. Lexique de la langue du dix-septième siècle expliquant, d'après les dictionnaires du temps et les remarques des grammairiens le sens et l'usage des mots aujourd'hui vieillis ou différemment employés (у меня под рукой IV изд. 1937 г.).

<sup>2</sup> Т. е. говоря практически: с увлечением читая наших классиков, мы скользим по местам, не совсем для нас по языку ясным.

*Embonpoint* в XVII в. значит 'конституция человека, находящегося в добром здоровье', и говорится чаще, хотя и не обязательно, о толстых людях:

... Il a votre air, votre âge.  
Vos yeux, votre action, votre maigre *embonpoint*.

(C o r n e i l l e. La suite du Menteur, v. 277).

В VIII изд. Словаря Французской академии (1932 г.) это слово объясняется как 'конституция более или менее толстого человека'. В Larousse Universel, хотя и объясняется как 'состояние тела, особенно у толстых людей' (т. е. дается некоторый выход для оттенка, имевшего место в XVII в.), однако в виде антонима дается *худоба* (*maigreur, émaciation*). Dictionnaire général выходит из затруднения, давая своим определением возможность подвести под него и старое употребление, но примеров на него не дает.

*Émouvoir* в XVII в. значит прежде всего *двигать*: *A force de leviers, on arrachera bientôt ce pieu, il commence à s'éouvoir* (Furetière, Dictionnaire Universel, 1690).

В современном Словаре Французской академии нет ни малейшего упоминания об этом значении. Но оно дано без оговорок в Larousse Universel и в Dictionnaire général (в последнем с примерами из XVII в.).

*Hoquet* в XVII в. имеет значение 'толчок, причина, его вызывающая':

Mes gens s'en vont à trois pieds,  
Clopin-clopant comme ils peuvent,  
L'un contre l'autre jetés  
Au moindre *hoquet* qu'ils trouvent.

(L a F o n t a i n e. Fables, v. 2).

Ни в современном Словаре Французской академии, ни в Larousse Universel этого не находим. В Dictionnaire général дано с пометкой *устар.*

Подобные примеры можно множить без конца. Вот несколько примеров из русского.

Достаточно, собственно, привести следующие стихи Пушкина:

Счастлив, кто близь тебя, *любовник упоенный*,  
Без томной робости твой ловит светлый взор,  
Движенья милые, *игривый* разговор  
И след улыбки незабвенной.

(Черновые наброски, 1820).

Совершенно очевидно, что неискушенный читатель в наше время может воспринять их совершенно превратно в целом. Обращаясь к частностям, видим, что слово *любовник* в наше время потеряло свой общий смысл, какой имело раньше и французское слово *amant* и который сейчас и по-французски и по-русски трудно выразить просто и точно ('человек, любящий определенную женщину'). Далее видим, что сейчас *упоенный* неупотребительно в абсолютном смысле: можно сказать только

*упоенный успехами* и что-нибудь в этом роде. Наконец, вопрос о том, что бы мы сейчас сказали в данном контексте вместо *игривый разговор*, требует особого исследования. Может быть, *оживленный*, может быть, просто *веселый*.<sup>1</sup>

Наконец, нельзя не указать на то, что в русском литературном языке сегодняшнего дня, благодаря коренному перевороту в нашей идеологии, происшедшему в результате Октябрьской революции, оказались гораздо более глубокие противоречия с вполне актуальной еще литературой. Примеры встречаются на каждом шагу; укажу несколько разительных с той или иной точки зрения.

Фраза *это воспитывает материалистов* до революции и сейчас имеет совершенно разные значения: до революции это могло значить 'это воспитывает людей, признающих только личную выгоду' (= шкурников), особенно при прибавке слова *грубый* = *грубых материалистов*; теперь она может значить только 'это воспитывает людей с материалистическим (философским) мировоззрением'. Не меньший сдвиг произошел со словами *идеалист*, *идеалистический*.

Слово *гражданин* всегда имело ореол чего-то возвышенного, однако сейчас мы скажем: *гражданин Иванов, извольте выйти вон*, и отнюдь не *товарищ Иванов*: слово *гражданин* в смысле титула приобрело что-то официальное.

В лингвистической терминологии приходится термин *диалектический* заменить словами *диалектный*, *диалектальный* ввиду большой распространенности философского значения слова *диалектический*.

Все это должно быть учитываемо при построении академического, нормативного словаря: в него не следует брать фактов хотя бы и актуальной литературы, но противоречащих современному употреблению. Однако последовательное проведение этого принципа приводит к тому, что при посредстве такого нормативного словаря нельзя будет понимать не только старой литературы, но зачастую даже и актуальной. Это затруднение всегда су-

---

<sup>1</sup> Вообще некоторые значения слова *игривый* в начале прошлого столетия зачастую очень трудно поддаются определению; ср., кроме указанных стихов, еще и такие контексты:

Как нам (=старцам), о мира гость *игривый*,  
Тебе постынет белый свет.

(П у ш к и н, Гроб юноши, 1821)

... И наконец,  
Глубок он (=Байрон), но единообразен!  
А ты глубок, *игрив* и разен.

(П у ш к и н, Ода Хвостову, 1824)

Ниночка моя (=жена) не жалуется, всем довольна, *игрива*, весела (Г р и б о е д о в. Письмо к Миклашевич).

Чуть не смеясь от избытка приятных и *игривых* чувств (после встречи с Асей), я нырнул в постель (Т у р г е н е в. Ася).



ществовало и как-то смутно ощущалось лексикографами. Но принципиальное противоречие, лежащее в основе всего дела, никем, кажется, не было еще вскрыто с полной четкостью.

В этом смысле очень характерны колебания между нормативным словарем и словарем-справочником в истории нашей лексикографии.

В 1789 г. Российская академия в предисловии к своему словарю (стр. IX) говорила: выбор слов Академия «следующими изъятиями облегчить предположила»: ...4) исключить «все слова старинные, вышедшие из употребления;»...

В 1847 г. Второе отделение Академии наук писало на стр. XI своего предисловия к Словарю церковнославянского и русского языка: «...Словарь должен... быть сокровищницей языка на протяжении многих веков, от первых письменных памятников до позднейших произведений нашей словесности» и дальше, на стр. XII: «Отделение русского языка и словесности... приняло в руководство следующие правила: 1) помещать в Словаре вообще слова, составляющие принадлежность языка в разные эпохи его существования, потому что Словарь не есть выбор, но полное систематическое собрание слов, сохранившихся как в памятниках письменности, так и в устах народа».

Замечательный для своего времени словарь Даля является конечно словарем-справочником, а в высшей степени полезный современный Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Д. Н. Ушакова — более или менее компромиссным словарем.

Нечто аналогичное мы видим и в современной французской лексикографии. Наиболее последовательно проводит нормативную точку зрения Словарь Французской академии, как это было видно из приводившихся выше примеров: он не дает значений, противоречащих сегодняшнему употреблению слов.<sup>1</sup> *Dictionnaire général* (Хацфельд, Дарместетер, Тома), как это тоже видим из примеров, подходит ближе к типу словаря-справочника, будучи прежде всего словарем языка литературы (начиная с XVII в.). То же можно сказать и о словарях Larousse'a, которые конечно являются прежде всего словарями-справочниками.<sup>2</sup>

Может быть, ближе к типу нормативного словаря подходит еще не оконченный, но превосходный словарь чешского языка, издаваемый Чешской академией под редакцией Oldřich Hujer,

---

<sup>1</sup> На заседаниях Комиссии Французской академии, подготовлявшей новое (VIII) издание Словаря, одним из основных вопросов, которым интересовались академики, был вопрос о том, насколько то или другое слово в том или другом значении является общепонятным во всей Франции.

<sup>2</sup> Larousse Universel хочет дать, между прочим, все слова, „которые относятся к старому французскому языку и не абсолютно устарели (qui ne sont pas absolument tombés en désuétude)“, как об этом говорится в предисловии. Нельзя не усмотреть в этих словах наличия известного компромисса между двумя точками зрения.

Emil Smetánka, Miloš Weingart (являющийся сокращением тоже подготовляемого к печати большого словаря): *Příruční Slovník jazyka českého*, Dil. I., A—J. v Praze, 1935—1937. Во всяком случае в его основе лежат тексты, начиная лишь с 1880 г. По-видимому, в таком же духе издается тоже превосходный нормативный словарь норвежского языка, по текстам с 1870 г.: *Norsk riksmåls-ordbok, utarbeidet av T. Knudsen og Alf Sommerfelt* (вышло уже два объемистых тома, что составит половину словаря).

На вопрос, как же надо поступать, я не задумываясь отвечаю: надо делать два словаря, один — нормативный, а другой — справочник,<sup>1</sup> определяя *terminus a quo* последнего историческими, но прежде всего практическими — ведь справочник! — соображениями (для русской лексикографии, думается, с послепетровской эпохи). Если нельзя сделать двух словарей, надо вступить на путь компромиссов, четко их оговаривая.

В заключение этого раздела хотелось бы подчеркнуть, что с чисто лингвистической точки зрения «научным» надо считать словарь академического, или нормативного, типа, ибо такой словарь имеет своим предметом реальную лингвистическую действительность — единую лексическую систему данного языка. Словарь-справочник в конечном счете всегда будет собранием слов, так или иначе отобранных, которое само по себе никогда не является каким-то единым фактом реальной лингвистической действительности, а лишь более или менее произвольным вырезом из нее.

На практике мы видим как раз обратное: в большинстве случаев словари, составленные по типу академических, не стоят на большой высоте (прежде всего уже потому, что не дают никакого представления о той системе, которая лежит в их основе). Между тем среди словарей-справочников есть много таких, которые надо считать совершенными, как в смысле научном, так и в смысле практическом.

Некоторые думают, что нормативный словарь не может быть научным, и готовы противопоставлять нормативный словарь опи-

---

<sup>1</sup> Вместо словаря-справочника можно сделать дифференциальный словарь всех тех особенностей текстов, которые противоречат современному употреблению, и в сущности для лиц, абсолютно владеющих русским литературным языком, такой словарь только и нужен. Для людей, активно не вполне владеющих русским литературным языком, но стремящихся к тому, — русских и нерусских — нужен нормативный словарь. Для большинства же нерусских, стремящихся прежде всего пользоваться русской литературой, нужен больше всего толковый словарь-справочник типа Larousse (см. о нем ниже, в конце 3-го раздела и в сноске в конце 5-го раздела). Он полезен будет многим и русским, недостаточно начитанным в русской литературе, и особенно нашей учащейся молодежи в процессе приобретения ею этой начитанности. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть необходимость заботы о нерусских, желающих обучиться русскому языку: их теперь десятки миллионов, а мы не привыкли об этом думать.

сательному. Это недоразумение: хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и уж ни в коем случае не должен ломать эту последнюю. Может быть, норму иногда трудно подметить, но это уже несчастье исследователя и не имеет никакого отношения к принципиальной стороне дела.

Здесь следует заметить, что очень часто, говоря о нормах, люди забывают о стилистических нормах, которые не менее, если не более, важны, чем всякие другие, и которые по существу вещей меньше всего зависят от произвола писателя, если только этот последний желает быть правильно понятым. Игорь Северянин вполне мог употребить в своих стихах такие выдуманные им слова и словосочетания, как *каблучком молоточить паркет, сенокосить твой спелый июль* и т. п. Это может нравиться или не нравиться, но никого не будет особенно шокировать как неуместное — в лирике допустимы неологизмы и вообще разные непривычные вещи. Но если какой-нибудь директор кино, желая обновить русский язык, сделает аншлаг на дверях своего театра: *местов на сегодня больше нет*, то реакция на это будет одна: «Как это вы позволяете неграмотным людям писать аншлаг в вашем театре?» И это несмотря на то, что формы *местов, делов* имеют, по всей вероятности, шансы на успех в будущем.

Очень часто норма допускает два способа выражения, считая оба правильными. Нормативный словарь поступил бы в высшей степени неосторожно, если бы забраковал одну из них, руководствуясь чистейшим произволом или личным вкусом редактора: не надо забывать, что синонимика является богатством языка, которое позволяет ему развиваться, предоставляя говорящему и пишущему широкие возможности для более тонкой нюансировки их мыслей (то же относится конечно и к складывающимся литературным языкам, где на первый взгляд иногда даже кажется, что нормы вовсе нет, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что она просто очень широка).

Не менее нужно опасаться и произвольной дифференциации синонимических форм: на этих путях легко можно сделать литературный язык без надобности затрудненным. Примером этому, по-моему, служит французский литературный язык, который не только позволяет нам, но и заставляет нас исключительно тонко нюансировать свою мысль, а вместе с тем и абсолютно четко ее выражать (по этим-то причинам нам в первую голову и надо изучать французский язык, язык мирового литературного мастерства), но в котором имеется, как мне кажется, чересчур много запрещений, затрудняющих владение им.<sup>1</sup>

В чем же должна состоять нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, особенно

---

<sup>1</sup> Для преодоления этих трудностей издаются даже особые книжечки, которые так и называются: «Ne dites pas... , mais dites...»

стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает выражению новой идеологии; далее, в поддержании новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность. Все это происходит помимо всяких нормативных словарей; однако эти последние могут помогать естественному ходу вещей, а могут и мешать ему, направляя развитие языка по ложным путям.

## 2. Противоположение второе: энциклопедический словарь — общий словарь

Противоположение это, на первый взгляд вполне очевидное и не требующее особых пояснений, на самом деле скрывает в себе довольно большие трудности.

Прежде всего вопрос о собственных именах в самом широком смысле этого слова. Многим кажется, что собственным именам нет места в общем словаре, что они составляют основное содержание только энциклопедического словаря. С последним положением конечно надо согласиться, но с первым, как будто, можно и должно спорить. Поскольку собственные имена, будучи употребляемы в речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку мы должны их считать словами, хотя бы и глубоко отличными от имен нарицательных; поскольку же они являются словами, постольку нет никаких оснований исключать их из словаря. Весь вопрос состоит в определении того, что в языке является «значением» собственных имен.

Оставляя в стороне философию собственного имени вообще, можно все же констатировать, что те сведения, которые даются в энциклопедиях, никоим образом не входят в это «значение»: эти сведения по существу вещей вовсе не должны быть общеизвестны (иначе не надо было бы и энциклопедий!). Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить тот общеобязательный минимум, без которого невозможно было бы общепонятно оперировать с данным собственным именем в речи. Как мне кажется, этим минимумом является понятие, под которое подводится данный предмет, с общим указанием, что это не всякий подводимый под данное понятие предмет, а один определенный.

Когда я говорю *философ*, то это может значить 'какой-нибудь философ' (*хотелось бы напечатать статью и философа = on voudrait publier un article d'un philosophe aussi*), или 'всякий философ' (*философ привык ценить форму = le philosophe est habitué à apprécier la forme*), или 'данный философ' (*философ подошел к собеседнику = le philosophe s'approcha de son interlocuteur*).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Здесь не дано анализа всех аспектов имени существительного в русском, а выхвачены лишь те, которые отвечают главнейшим функциям французских артиклей.

Последнее значение по функции в речи более или менее синонимично собственному имени, вместо которого и сказано в последнем примере *философ*. Таким образом, с большими, конечно, упрощениями, но все же с некоторым приближением к истине можно сказать, что собственное имя относится к соответственному нарицательному, как французское нарицательное с определенным членом (в одном из его значений) к нарицательному с неопределенным членом. *Империалистическая война* с маленькой буквы — нарицательное, а если мы напишем это слово с большой буквы, то будем иметь в виду одну определенную империалистическую войну (по-французски *La Grande Guerre*). Вот несколько примеров определений собственных имен для общего словаря: *Австралия* — одна из стран света; *Людовик XIV* — один из французских королей; *Хлестаков* — один из персонажей комедии Гоголя «Ревизор». Однако некоторые характерные черты того или иного предмета могут иногда входить в значение соответственного собственного имени, приближая его к нарицательному. Так, *Хлестаков* со своими чертами беспардонного вруна и хлыща становится нарицательным и дает производное слово *хлестаковщина*. Слово *Австралия* едва ли способно приобретать какие-либо характерные признаки (нельзя, конечно, считать таковыми кенгуру и не дающие тени эвкалипты); но слово *Европа* несомненно имеет в нашем языке (совершенно независимо от того, насколько или в каком отношении это соответствует действительности) характерный признак — ‘страна передовой цивилизации’, отсюда возможность таких словосочетаний, как *европейские манеры*, *европейская вежливость* и т. п.<sup>1</sup> Дело хорошего общего словаря определить вторые «нарицательные» значения собственных имен, и надо сказать, что дело это очень деликатное.

Самым трудным делом для лексикографии будет выбор такого понятия, под которое следует подводить то или другое собственное имя. Само собой разумеется, что это не может быть делом личного усмотрения или вкуса: надо подметить, как дело обстоит в языке данного общества, и в этом-то и заключается трудность. В самом деле, как определяется *Ньютон* для русского литературного языка? ‘Ученый’, ‘ученый мыслитель’, ‘английский ученый’, ‘основоположник современной механики’ и т. д. Вот провизорное определение, которое требует еще, конечно, проверки: ‘один из гениальнейших умов человечества, заложивший основы современного знания в области точных наук’.

Само собой разумеется, что не все собственные имена должны входить в общий словарь, если он относится к академическому типу, а лишь те, которые общеизвестны в данном языковом коллективе.

---

<sup>1</sup> Может показаться, что это значение устарело и сейчас даже звучит иронически; но в данном случае это не играет роли.

Совершенно особую группу собственных имен составляют личные имена и клички, которые конечно не могут иметь иного определения, кроме того, что это 'одно из личных имен' или 'одна из кличек'.<sup>1</sup> Но и они являются факультативными словами, поскольку они постоянно входят в ткань речи с очевидным в каждой определенной среде смыслом. Некоторые из них делаются даже нарицательными именами в том или другом отношении, хотя в общем это бывает довольно редко.

Другую трудность в плане противоположения «энциклопедический словарь — общий словарь» представляют собой термины. Очень многие специальные термины вовсе не входят в общелитературный язык и относятся к специальным жаргонам. Они подробно объясняются или в общей, или в разных технических энциклопедиях, где даваемые о них сведения можно сильно варьировать по объему. Но много есть и таких терминов, которые входят и в литературный язык. Однако очень часто они будут иметь разные значения в общелитературном и в специальных языках. Слово *золотник* (в машине) всем хорошо известно, но кто из нас, не получивших элементарного технического образования, знает как следует, в чем тут дело? Кто может сказать, что вот это *золотник*, а это нет? Поэтому в общем словаре приходится так определять слово *золотник*: 'одна из частей паровой машины'. *Прямая* (линия) определяется в геометрии как 'кратчайшее расстояние между двумя точками'. Но в литературном языке это очевидно, не так. Я думаю, что *прямой* мы называем в быту 'линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)'.<sup>2</sup> В ботанике разные растения определяются по установленной системе (то же относится и к зоологии, и к минералогии, и к другим отделам природы). В быту, а следовательно, и в литературном языке они определяются совершенно иначе, и зачастую очень трудно отыскать те признаки, которые заставляют нас узнавать то или другое растение.<sup>3</sup> Я не говорю уже о тех случаях, когда про тот или другой предмет приходится говорить, что это 'род кустарника' или что это 'один из видов небольших лесных птиц' и т. п. Во всяком случае нужно помнить, что нет никаких оснований навязывать общему языку понятия, которые ему вовсе не свойственны и которые — главное и решающее — не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения.

---

<sup>1</sup> Иногда с добавкой «презрительная кличка», «насмешливая кличка» и т. п.

<sup>2</sup> Не следует думать, что здесь скрыт *circulus vitiosus*: в основе наших обывательских понятий *прямо, направо, налево* лежит, я думаю, линия нашего взгляда, когда мы смотрим перед собой.

<sup>3</sup> *Иван-да-марья*, например, определяется в ботанике как вид марьяника *Melampyrum petogosum* L. из сем. норичниковых. В быту для нас это — если мы не смешиваем его с анютиными глазками — 'лесное травянистое растение с желто-лиловыми цветами'.

### 3. Противоположение третье: thesaurus — обычный (толковый или переводный) словарь

Следующим капитальным противоположением в области лексикографии надо считать противоположение словарей типа thesaurus и обычных толковых или переводных словарей.

Когда говорят thesaurus, то нынче у нас чаще всего имеют при этом в виду Thesaurus linguae latinae, предприятие пяти немецких академий, начатое еще в 1900 г. и до сих пор доведенное с пропусками лишь до буквы М. Характерная особенность этого типа словарей состоит в том, что в них приводятся все решительно слова, встретившиеся в данном языке хотя бы один раз (т. е. и все так называемые *haraх'ы*), и что под каждым словом приводятся все решительно цитаты из имеющихся на данном языке текстов (в Thesaurus linguae latinae до 600 г.). В основе вышеуказанного противоположения лежит противоположение «языкового материала» и «языковой системы» — понятия, которые я пытался обосновать в своей статье «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (Известия АН СССР. Отд. общественных наук, № 1, 1931).

В основе всякого языка лежит все сказанное, услышанное и понятое на этом языке. Для простоты в дальнейшем будем говорить о письменном языке, так как в устном языке процессы представляются более сложными. Тогда можно сказать, что в основе всякого письменного языка лежат опубликованные на этом языке тексты, которые и представляют собой то, что я называю «языковым материалом». Для того чтобы понимать тексты и создавать новые, надо владеть всем «языковым материалом», т. е. знать все наличные тексты этого языка, но не в сыром, а в синтезированном, обобщенном виде. Синтез языкового материала я и называю «языковой системой», которая раскрывается в правилах грамматики и в правилах словаря, иначе — в правилах применения слов-понятий к реальной действительности. Правила словаря даются обыкновенно в виде «значений слов». Всем, однако, известно, как трудно формулировать эти значения в толковых словарях: это издавна составляло самое слабое их место, и издавна ведутся споры о наилучших методах определения значений. Герман Пауль дошел в этом отношении до такого скепсиса (ср. его статью «Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexicographie mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch» в Sitzungsberichte d. philos.-phil. und hist., Classe d. K.-B. Akademie d. Wissenschaften zu München, Jahrgang 1894), что старается в своем все же прекрасном словаре немецкого языка (Deutsches Wörterbuch, у меня 3-е изд. 1921) в основном избегать определений, исходя из того предположения, что человеку, знающему немецкий язык, обычные значения немецких слов и так известны (все внимание его обращено на разные тонкие оттенки значений и на их историю). Оставляя тео-

ретическую сторону этого вопроса до специального этюда, посвященного понятиям «значения и употребления слов», здесь можно пока констатировать только то, что со словарем Пауля человек, плохо знающий немецкий язык, не сможет читать немецких текстов и что, следовательно, если не прибегать к переводам на другой язык (о чем речь будет идти ниже), то вопрос об определении значений остается в силе, тем более, что реальность самих значений не отрицал, конечно, и Пауль.

На почве этих затруднений и вырастает противоположение словаря, дающего весь «языковой материал» к каждому слову и до известной степени предоставляющего читателю самому выводить из него значения, и словаря, так или иначе — путем толкования или путем перевода — пытающегося дать все значения каждого слова и приводящего примеры лишь для иллюстрации своих определений.

Но, конечно, дело не только в трудности формулировать определения значений, а больше всего и прежде всего в исключительной трудности отыскания всех отдельных значений слова. Сравнительно легко наметить основные группы значений; но установление так называемых оттенков представляет уже большие трудности и иным кажется неважным, а иным субъективным. Не может быть сомнения в том, что такие ведущие к своего рода словарному агностицизму суждения глубоко неверны: трудность отыскания чего-либо не доказывает еще отсутствие искомого. Словарь все же является не простым, хотя бы и полным собранием примеров на отдельные фонетические слова, а собранием сгруппированных под отдельными словами общих понятий, под которые подводятся в данном языке единичные явления действительности. Поэтому в словаре под каждым фонетическим словом обязательно должен быть дан исчерпывающий и точный перечень понятий, с ним соединенных. Однако вполне справедливо, что дело это весьма деликатное и требует исключительно обостренного языкового восприятия. Проанализируем для примера такое простое на первый взгляд слово, как *игла*. Совершенно очевидные понятия, выражаемые этим словом, будут, во-первых, 'швейная игла', во-вторых, 'вязальная игла или спица', в-третьих, 'филейная игла',<sup>1</sup> в-четвертых, 'лист хвойного дерева', в-пятых, 'колючка растения', в-шестых, 'колючка животного', в-седьмых, 'граммофонная игла' (хотя в сущности в этом смысле

---

<sup>1</sup> Можно и даже в сущности должно в литературном языке считать единым словом сочетание *филейная игла*, а употребление одного слова *игла* в этом значении считать «неполным словом». То же надо сказать про *вязальную иглу*, с учетом того, что это технический, фабричный термин: в литературном языке про вязальные иглы в их бытовом употреблении как будто говорят только *спицы*. Но *швейная игла* и просто *игла* употребляются как синонимы (*швейная игла* является, конечно, тоже простым словом), причем первый из них употребляется вместо второго (а не наоборот) как уточняющий термин.



употребляется скорее слово *иголка*, а не *игла*).<sup>1</sup> Однако и здесь можно спорить, насколько отдифференцировались пятое и шестое значения. Во фразе *Я с трудом прокладывал себе дорогу сквозь густую заросль неведомых мне растений: иглы колючих кустарников то и дело впивались в меня...* слово *игла* с современной точки зрения мне кажется скорее употребленным хоть и метафорически, но в своем обычном значении. Однако в литературе есть ряд примеров, как будто противоречащих такому утверждению; например, у Вяземского (Старая зап. книжка. Собр. соч., IX, стр. 59): *В саду редкое дерево: род акации с острыми и твердыми иглами.* Я склонен думать, что это устаревающее значение слова *игла*, которое, по-видимому, заменяется словом *колючка* (слову *шип* несколько мешает, по-видимому, плотницкое его значение, тем более, что в смысле 'колючка' он является скорее возвышенным словом). Что касается значения 'колючка животного', то тоже предполагаю, что оно мертвое и осталось лишь пережиточно в таких сочетаниях (однако не в «речениях», т. е. не в застывших выражениях), как *иглы ежа*, *иглы дикобраза*. Нормальным словом здесь было бы тоже *колючка*. Предполагаю, что первоначальное значение славянской *иглы* вовсе не 'швейная игла' (ср. словарь Даля) и что вышеприведенные 5-е и 6-е значения слова *игла* являются пережитками прежнего более широкого значения<sup>2</sup> (впрочем, в развитии значений слова *игла* несомненно большую роль играли кальки).

Но все это надо признать исключительно тонкими вопросами; имеются вопросы гораздо более элементарные и тем не менее трудные. Так, надо ли считать особым значением в системе слова *игла* следующие употребления: *зеленеет ячмень с острыми иглами своими* (Карамзин); *тонкие нежные, молодые иглы травы* (Л. Толстой) и многие другие подобные? Иначе говоря, имеет ли слово *игла* значение 'росток'? Далее, имеет ли слово *игла* значение 'шпиль'? (*адмиралтейская игла* Пушкина). Имеет ли *игла* значение 'иглоподобный кристалл' (*ледяные иглы*)? И т. д. Я думаю, что для современного языка это, хотя и особые значения, однако тоже более пережиточного характера. Зато я никак не могу согласиться с 4-м значением слова *игла* в Словаре Д. Н. Ушакова — 'тонкий заостренный конец чего-нибудь'. Приводимый пример: (*Автомобили*) *туго набиты солдатами, матросами и оцетинились стальными иглами штыков* (Горький) ил-

---

<sup>1</sup> Я оставляю в стороне восьмое очень важное значение 'небольшой более или менее заостренный стерженек с теми или иными техническими функциями', откуда в разных технических жаргонах самые разнообразные специальные значения, о которых я не буду здесь распространяться.

<sup>2</sup> Любопытно отметить, что с современным немецким *Nadel* дело обстоит как раз обратно: оно имеет довольно общее значение 'небольшого тоненького, заостренного приспособления', употребляясь и в смысле *иголки*, и в смысле *булавки*, и в смысле *шпильки* и т. п.; этимологически же оно, по-видимому, связано со словом *nähen* 'шить'.

люстрирует, по-моему, лишь образное употребление слова *игла* в его основном значении. С этим связан, между прочим, один глубокий вопрос: не раздваивается ли первое значение слова *игла* на два понятия — а) 'собственно швейная игла' и б) переносно — 'нечто подобное швейной игле'. Разница между ними была бы лишь в отсутствии в этом же случае ушка (или чего-либо играющего его роль, например, у *хирургической иглы*), по-видимому существенного признака первого понятия. Под это второе понятие подошел бы и вышеприведенный пример из Горького и соответственные примеры из Тургенева, Л. Толстого и др. (сравнение штыков — но не штыка — с иглами является в сущности литературным штампом, хотя еще и живым). Но главное сюда бы подошли многие образные употребления слова *игла*: *Иглы ресниц* (Фет). *Какая тоненькая. Игла* (о молоденькой девушке. Горький). (Взгляд), *из которого не только не прорезывались иглы, лучи света, но даже искры не было* (Гончаров). *Блуждают солнечные иглы по колесу от очага* (Клюев). (Дождь) *иглы заслезил* (Пастернак). *Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке* (Тургенев). *Острый, пронизывающий озноб мгновенно разбегаются жгучими иглами...* (Серафимович). *Слова мудрых остры, как иглы* (Куприн). В выражениях: *иглы сатиры, остроумия* и т. п., *быть, сидеть, лежать* и подобные (как) *на иглах* и т. д.

Суть вопроса во всех этих случаях состоит в том, сохраняется ли в них образ именно *швейной иглы*. В составленном мною в 1935 г. первом выпуске IX тома Словаря русского языка АН (откуда заимствовано большинство вышеприведенных примеров) я решал этот вопрос в утвердительном смысле, считая, что во всех этих случаях в основе лежит образ *швейной иглы*, но что при этом, как это всегда бывает при образных употреблениях, выпячивается один какой-либо признак, а все остальные в той или другой мере затушевываются. Иначе говоря, я считал, что значения б) — см. выше — не существует в русском литературном языке; но с этим, может быть, можно и спорить.

Все сказанное целиком объясняет практическое требование к составителям словарей: не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров. Я слышал такие суждения от первоклассных филологов. И действительно, каждое маломальски сложное слово в сущности должно быть предметом научной монографии, а следовательно, трудно ожидать скорого окончания какого-либо хорошего словаря. А словари нужны, и надо находить какой-то компромисс. Надобность в таком компромиссе еще более становится очевидной, если мы обратим внимание на все вышеприведенные случаи образного употребления слова *игла*. Как бы мы ни решали вопрос о значении этого слова, остается все же вопрос о том, в каких случаях слово *игла* может быть употреблено образно. Можно ли, например, сказать о гвоздях, натыканных для затруднения воров поверх забора,

что они торчат, как иглы? Мне кажется, что нельзя;<sup>1</sup> это хотя и неважно само по себе, однако показывает, что в словаре должны быть исчислены все традиционные случаи образного применения данного слова. И если для людей, вполне владеющих активно данным языком, возможен эксперимент (т. е. проба составления разных контекстов данного слова), то по отношению к мертвым языкам этот прием отпадает по существу вещей. Поэтому в словарях мертвых языков исчерпывающее обилие цитат является единственным выходом из положения. Однако то же надо сказать и о словарях нормативного типа живых языков: ведь спрашивается, существует ли в данном языке такое словоупотребление или нет, а поэтому все существующие должны быть безусловно перечислены. Само собой разумеется, что нет надобности приводить однообразные цитаты; но исчерпать их разнообразие совершенно необходимо.

В связи с этим понятно, почему хорошими считаются те словари, которые дают много примеров (таковы, например, Словарь Французской академии с многочисленными примерами из разговорного языка и Французский словарь Литтре с еще более многочисленными литературными цитатами). Все это объясняет, почему стремление в той или иной мере приблизиться к типу *thesaurus* является естественным в лексикографии, хотя степень этого приближения остается совершенно неопределенной.<sup>2</sup>

Но есть мотивы, которые в известных случаях делают тип *thesaurus* в чистом виде идеалом словаря вообще. Значения слов эмпирически выводятся из языкового материала (об этом «выведении» будет сказано в особом этюде, посвященном значению и употреблению слов). Но в живых языках этот материал может быть множим без конца, и в идеале значения определяются с абсолютной достоверностью; в мертвых же языках он ограничен наличной традицией. При этом для одних значений его более чем достаточно, для других его мало, и каждый случай употребления данного слова может оказаться в той или другой степени ценным для разных выводов. И далее, в живых языках каждый, произвольно множа случаи употребления данного слова, может проверить выводы составителя словаря относительно значения данного слова; в мертвых языках для проверки нужно знать все наличные случаи употребления. Вывод отсюда тот, что всякий научный словарь мертвого языка в принципе должен быть *thesaurus*'ом, т. е. давать весь наличный языковой мате-

---

<sup>1</sup> Этому несколько не противоречило бы то, что тот или другой писатель все же в каком-то специальном контексте удачно использовал подобный образ.

<sup>2</sup> Я не говорю здесь о том, что словари к писателям должны быть сделаны по типу *thesaurus*, так как в этом едва ли кто-нибудь сомневается. только располагая всей полнотой цитации, можно строить какие-либо предположения и выводы.

риал данного языка.<sup>1</sup> Практически от этого могут быть конечно те или другие отступления: нет надобности, например, приводить повторяющиеся случаи, а также случаи, очень близкие по контексту, и т. п.,<sup>2</sup> но это не нарушает основного принципа.

Другой мотив, приводящий составителя словаря к типу *thesaurus*'а, лежит в чисто научно-лингвистических интересах. В обычных словарях отражается только «языковая система» данного языка. Но эта система целиком покоится, как было сказано выше, на «языковом материале», а «языковой материал» есть не что иное, как объективированная «речевая деятельность» данного коллектива (которая является единственной данной в опыте языковой реальностью). Эта речевая деятельность, хотя зачастую и протекает целиком по готовым шаблонам, однако в принципе является речетворчеством, обусловленным правилами «языковой системы» данного языка (см. об этом мою вышецитированную статью «О трояком аспекте...»). Несомненно, что в задачи лингвистики входит изучение процессов речетворчества вообще и, в частности, в области словоупотребления. И многим представляется (полагаю, не вполне основательно), что материалы для этого должны найти себе место в полном научном словаре — отсюда необходимость опять-таки приведения под каждым словом всего языкового материала, относящегося к данному слову.

В той или другой мере под знаком всех этих идей, вероятно, составлялся Словарь русского языка, издававшийся нашей Академией наук под редакцией А. А. Шахматова, начиная с 1897 г., и оставшийся неоконченным. Он, конечно, не должен был быть настоящим *thesaurus*'ом, но максимум цитат было его основным принципом, а поскольку дело шло об «областном языке», постольку абсолютно все имевшиеся материалы обязательно входили в его ткань.

Более последовательно принцип *thesaurus*'а проводится в современном продолжении Немецкого словаря бр. Гриммов (начиная, кажется, с 1908 г.). Во всяком случае в картотеке этого словаря стремятся иметь исчерпывающие выписки из максимального числа авторов, и последние выпуски самого словаря дают хорошие объемистые статьи, богато иллюстрированные интереснейшим материалом.<sup>3</sup>

Однако само собой разумеется, что для богатого живого литературного языка принцип *thesaurus*'а практически не может быть проведен до конца: нельзя перепечатать в словаре всю би-

---

<sup>1</sup> Само собой разумеется, что это относится и к древним периодам живых языков с теми ограничениями, что абсолютно очевидные вещи не требуют полной цитации.

<sup>2</sup> Иногда их можно совсем пропускать, заменяя словами *и т. п.*, иногда давать их число, иногда давать только ссылки.

<sup>3</sup> Лет 10 тому назад в самой редакции одним из образцов своих достижений считали статью «Volk» объемом в 61 столбец.

блиотеку актуальных авторов (если говорить только о нормативном словаре). Нелепость такого предприятия становится сразу очевидной, если мы будем иметь в виду не только письменный, но и устный, хотя бы и не областной язык.

Здесь обнаруживаются, однако, не только практические, но и теоретические противоречия в самом принципе thesaurus'a. В самом деле, наше устное речетворчество очень и очень часто нарушает в том или другом отношении, в той или другой мере существующие языковые нормы. Это хорошо известно всякому вдумчивому лингвисту; но в этом каждый может убедиться, прочитав стенограмму своего неподготовленного устного выступления (я имею в виду конечно не профессионалов-ораторов, а обыкновенных образованных людей, вполне владеющих литературным языком). Но не только в устном, а и в письменном языке постоянно встречаются разного рода неправильности и неловкости. Даже лучшие авторы грешат такими вещами. Не подлежит сомнению, что, с точки зрения речетворческих процессов (т. е. нашей речевой деятельности), ошибки речи особенно показательны: они-то и раскрывают механизм этих процессов; они зачастую дают ключ к пониманию причин исторических изменений в языке. Для настоящего лингвиста-теоретика, для которого вопросы «как» и «почему» являются самыми важными, ошибки речи оказываются драгоценным материалом. Тем не менее даже в словарях мертвых языков, где принципы thesaurus'a должны быть руководящими, ошибки речи скорее надо считать *malum necessarium* — *necessarium*, ибо для мертвых языков у нас нет непосредственных критериев ошибочности, с которыми борются филологи-стилисты в меру своих сил. В словарях живого языка даже и ненормативного типа, особенно в словарях с малочисленными примерами, они безусловно недопустимы. Зато в словарях писателей ошибки могут быть очень интересны и с разных точек зрения показательны.

Тут возникает вопрос о том, почему ошибки речи, являясь по существу тоже «языковым материалом», участвуя в формировании «языковой системы» данного языка (ср. выше) и будучи таким образом «неопасными» в жизни, оказываются опасными в словаре. Ответ на это простой: поскольку эти ошибки сознаются как таковые, постольку они неопасны, образуя то, что я называю «отрицательным языковым материалом», — это языковой материал как бы с особой пометкой «так не говорят», которая реализуется в замечаниях старших для ребенка, в насмешках среды для взрослых. В подлинной языковой жизни он не только не опасен, но играет огромную роль в выработке «языковой системы» у членов данного языкового коллектива.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Впервые об «отрицательном языковом материале» я говорю в вышеупомянутой моей статье «О тройном аспекте...» Осознание его роли в естественном процессе усвоения языка очень важно, между прочим, и для теории методики преподавания иностранных языков.

«Отрицательный языковой материал», искусно подобранный и снабженный соответственным знаком, мог бы быть очень полезным в нормативном словаре (особенно для борьбы с естественными, но не употребительными словосочетаниями).

В плане противоположения thesaurus'a и обычного словаря надо затронуть один практический вопрос, очень волнующий словарные издательства, — это вопрос словника, т. е. вопрос о том, какие слова надо брать в словарь того и другого типа, а какие — нет. Как было сказано в начале этого раздела, thesaurus характеризуется именно тем, что в его словник включаются все слова, какие только кем-либо были употреблены, хотя бы это и имело место всего один раз (нарах legomena). В словарях иного типа возможны бесконечные вариации: в последовательном полном нормативном словаре того или иного литературного языка конечно должны быть даны все слова, имеющие безусловное хождение в данном языке. И это не представляет собой никаких особых затруднений в смысле объема: большинство специальных терминов ведь не входит в литературный язык (см. 2-й раздел); что касается разных новообразований, то их возможность должна быть безусловно предусмотрена, но попасть в словарь должны лишь те, которые приобрели, так сказать, некоторую индивидуальность (подробнее этот вопрос будет разобран в одном из следующих этюдов). Конечно, провести правильную демаркационную линию и в первом и во втором случае дело исключительной трудности; но вообще словарная работа, как основанная исключительно на семантике, требует особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого дарования, которое по какой-то линии, вероятно, родственно писательскому дарованию (только последнее является активным, а дарование словарника — пассивным и обязательно сознательным).

Что касается разных типов словарей-справочников (я имею в виду в первую голову иностранные словари, в том числе и русские для нерусских), то словник их зависит от того потребителя, для которого словарь предназначен: одно дело, если этот потребитель хочет читать книги по технике; другое дело, если он хочет читать стихи, и опять-таки другое дело, если он просто турист, и так далее до бесконечности. Число типов неограниченно, и устанавливаются они чисто эмпирически.

Мой педагогический опыт подсказывает мне одно: всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен. Поэтому студентов я бы всегда сразу снабжал иностранными словарями типа Nouveau petit Larousse illustré — это проверенный многолетним опытом тип, который, между прочим, одобрял и В. И. Ленин.

Это не значит, чтобы я вовсе отрицал разные небольшие словари для начинающих, для туристов и для других категорий лю-

дей, которые не собираются серьезно пользоваться иностранной литературой, но я считаю, что этими типами словарей — ценою подешевле — не следует увлекаться.

В самом деле, каждому серьезному технику-специалисту правильнее всего сразу купить себе том Шломана (см. конец следующего раздела), соответствующий его специальности, и быть надолго обеспеченным серьезным техническим дифференциальным словарем с шестью языками. Маленькие же технические словари годятся разве для начинающих студентов, приучающихся читать тексты по специальности на том или другом языке. Специалисту, читающему более или менее свободно на данном языке, такие словарики вообще не нужны, так как термины он в большинстве случаев понимает из контекста, а в серьезных случаях ему все равно придется обращаться к настоящему полному техническому словарю. Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть ошибочность обывательского мнения, будто технические термины составляют главную трудность при чтении специальных иностранных текстов: незнание предмета для одних и плохое знание данного общего языка для других — вот истинные причины трудности специальных технических текстов.

В заключение хочу сказать, что один небольшой по словнику словарь мне кажется все же совершенно необходимым для каждого иностранного языка: это учебный словарь для начинающих. Он должен объединить все те основные слова, без знания которых нельзя делать быстрых успехов в свободном чтении текстов на данном иностранном языке, и представить их как элементы некой единой системы. Однако тип такого словаря надо еще выработать, и весь вопрос является прежде всего методическим.

#### **4. Противоположение четвертое: обычный (толковый или переводный) словарь — идеологический словарь**

Поскольку мы можем в каждом слове различить его фонетическую форму (фонетическое слово) и его значение, постольку словарь каждого языка можно организовать, исходя из фонетических форм слов (обычный словарь), располагая их или в алфавитном порядке (алфавитный словарь), или по гнездам (гнездовой словарь),<sup>1</sup> а можно организовать его и исходя от значений, т. е. от понятий, выражаемых фонетической формой слов (идеологический словарь). Может показаться, что в последнем случае слова собственно будут разрушены, так как одно и то же

---

<sup>1</sup> При последовательном проведении принципа живых словообразовательных гнезд могут получаться очень интересные словари, выявляющие часть той системы, которую образует лексика каждого языка. Такие словари неудобны только для наведения в них быстрых справок. В числе гнездовых словарей можно назвать Словарь русского языка Российской академии конца XVIII в. и современный словарь немецкого языка Pinloche'a — *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, где «этимологический» надо понимать скорее как «гнездовой».

слово, имея несколько значений, будет фигурировать в разных местах и что это будет уже не словарь, т. е. не список слов, а список понятий. Однако это неверно. Неправильно думать, что слова имеют по несколько значений: это, в сущности говоря, формальная и даже просто типографская точка зрения. На самом деле мы имеем всегда столько слов, сколько данное фонетическое слово имеет значений (так и печаталось, между прочим, в старых словарях: заглавное слово повторялось столько раз, сколько у него было значений). Это вытекает логически из признания единства формы и содержания, и мы должны были бы говорить не о словах просто, а о словах-понятиях.<sup>1</sup> В нашем повседневном употреблении мы скатываемся на формальную точку зрения, придавая слову *слово* значение «фонетического слова». Таким образом, точнее всего было бы говорить, что обычный словарь является списком «фонетических слов» с их значениями, а идеологический словарь является списком слов-понятий с их синонимами.<sup>2</sup>

Несмотря на очевидность принципа идеологических словарей и несмотря на то, что практическая надобность в них очень велика (о чем будет еще сказано несколько ниже), словари этого типа не в ходу, если не считать нескольких единичных попыток в этом направлении.

Причина этого лежит в трудности дела и в полной неразработанности словарной теории вообще: словарным делом занимались лишь единичные крупные люди, а в основном оно было почти целиком предоставлено рынку. Лингвистика XIX в., увлеченная открытиями Боппа, Гримма, Раска и др., как правило, вовсе не интересовалась вопросами теории лексикографии.

Для создания настоящего идеологического словаря прежде всего необходимо иметь полный и очень точный список слов-понятий данного языка, а чтобы составить такой список слов-понятий, надо четко описать все значения слов в словарях обычного типа. Но мы видели в 3-м разделе, как это трудно и как на это склонны безнадежно махать рукой даже крупные филологи. На самом деле, хоть это и трудно, но конечно не невозможно. Но преодоление всякой научной трудности требует работы поколений. Ведь лингвистика XIX в. достигла поразительных результатов именно благодаря концентрации работы ряда поколений на вопросах сравнительной и исторической грамматики индоевропейских языков.

---

<sup>1</sup> Само собой разумеется, что слова-понятия, выражаемые одним фонетическим комплексом, в большинстве случаев (кроме так называемых омонимов) образуют более или менее сложные системы, что и выражается обычно в словарях тем, что они помещаются под одним заглавным словом, но под разными цифрами, буквами и т. п.

<sup>2</sup> С этой точки зрения можно сказать, что синонимические словари являются отчасти одним из видов идеологических словарей, где только синонимы прикреплены не к слову-понятию, а к фонетическому слову (хотя и с учетом его многозначности).



Другая трудность создания настоящего идеологического словаря лежит в классификации слов-понятий, которая обнаружила бы их живую взаимосвязь (она необходима, конечно, и для легкого их разыскания в словаре). Дело в том, что при классификации идей очень легко впасть в априорность и субъективизм. Между тем система слов-понятий (= мышление) в конечном счете является функцией производственных отношений (в самом широком смысле) данного коллектива и условий его жизни, а потому оказывается величиной переменной. Отсюда необходимость чисто эмпирической классификации слов-понятий для каждого языка в каждый определенный момент времени. Если принять еще во внимание, что система слов-понятий каждой эпохи является компромиссом между системой понятий предшествующей эпохи и требованиями нового времени, а с другой стороны, если вспомнить, что в наших словарях до сих пор еще царит смешение разных хронологических планов, то трудности подлинной, т. е. отвечающей действительности, классификации станут очевидными.<sup>1</sup>

Вот классификация — в аспекте английского языка — одного из старейших идеологических словарей Роджета, о котором будет сказано еще ниже:

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| I. Абстрактные отношения | } | I. Бытие<br>II. Отношения<br>III. Количество<br>IV. Порядок<br>V. Число<br>VI. Время<br>VII. Изменение<br>VIII. Причинность |
| II. Пространство         | } | I. Пространство вообще<br>II. Мера<br>III. Форма<br>IV. Движение  |
| III. Материя             | } | I. Материя вообще<br>II. Неорганическая материя<br>III. Органическая материя  |

---

<sup>1</sup> При этом нужно и здесь опасаться смешения принципов энциклопедического и обычного словаря: взаимосвязи слов-понятий, на которых и должна строиться их классификация, в обычном словаре должны быть представлены не такими, какими они должны были бы быть, а такими, как они конкретно существуют в данном коллективе, определяя его речевую деятельность (коммуникацию). Сказанное не противоречит, конечно, тому, что историческое развитие языка в этой области в конечном счете определяется развитием общественного сознания, объективной истиною.

- |             |   |                            |
|-------------|---|----------------------------|
| IV. Разум   | { | I. Образование понятий     |
|             |   | II. Сообщение понятий      |
| V. Воля     | { | I. Индивидуальная воля     |
|             |   | II. Общественная воля      |
| VI. Чувства | { | I. Чувства вообще          |
|             |   | II. Индивидуальные чувства |
|             |   | III. Общественные чувства  |
|             |   | IV. Моральные чувства      |
|             |   | V. Религиозные чувства     |

Эти категории подразделяются конечно еще дальше, и в конце концов получается 1000 категорий, которые здесь не могут быть приведены.

Новейшую классификацию понятий в аспекте французского языка дает Балли во втором томе своего замечательного *Traité de stylistique française*. Вот его основные категории:

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| I. Априорное                  | { | A. Бытие                                  |
|                               |   | B. Отношение                              |
|                               |   | B. Причинность                            |
|                               |   | Г. Порядок                                |
|                               |   | Д. Время                                  |
|                               |   | Е. Количество, число, интенсивность       |
|                               |   | Ж. Пространство. Положение в пространстве |
|                               |   | З. Изменение                              |
|                               |   | И. Движение                               |
| II. Материя. Чувственный мир  | { | A. Созидание (création): жизнь и смерть   |
|                               |   | B. Мир, природа, существа                 |
|                               |   | B. Свойства материи                       |
|                               |   | Г. Восприятие чувственных объектов        |
| III. Мышление и его выражение | { | A. Свойства мышления                      |
|                               |   | B. Операции мышления                      |
|                               |   | B. Выражение и коммуникация мышления      |
| IV. Воля                      | { | A. Свойства воли                          |
|                               |   | B. Операции воли                          |
|                               |   | B. Воля по отношению к другому            |
|                               |   | Г. Воля взаимная или внешне ограниченная  |

- V. Действие {
- А. Необходимые действия; потребности, источники, средства
  - Б. Свойства объекта действия; ценность, полезность
  - В. Состояния и качества, относящиеся к результату действия
  - Г. Свойства предмета действующего
  - Д. Мотивы действия
  - Е. Подготовка действия
  - Ж. Модусы действия
  - З. Взаимодействие или действие внешне ограниченное

- VI. Собственность {
- А. Приобретение и владение
  - Б. Пользование, передача, мена

- VII. Чувства {
- А. Чувства вообще
  - Б. Чувство удовольствия и неудовольствия
  - В. Инстинктивные чувства
  - Г. Чувства эгоцентрические
  - Д. Эстетические чувства
  - Е. Чувства и действия альтруистические

- VIII. Общество {
- А. Общественная жизнь
  - Б. Место индивида в обществе
  - В. Права и обязанности; закон; суд

- IX. Нравственность {
- А. Формы долга; поведение
  - Б. Оценка поведения. Репутация

X. Религия

При дальнейшем подразделении у Балли получается 297 категорий, например *louange* | *blâme*, *flatterie* | *calomnie*, *respect* | *mépris*, *passé* | *présent* | *avenir*, *passé récent* | *avenir prochain*, *ancienneté* | *pouveaueté* и т. д. Надо отметить, что классификация Балли — конечно не исчерпывающая — имеет в виду „*termes d'identification*“ синонимов; но я полагаю, что, идя другим путем, Балли приходит в сущности к тому же, о чем говорилось выше, т. е. к словам-понятиям.

Само собой разумеется, что хотя категории Балли в какой-то мере и подходят к словам-понятиям, однако до идеологического словаря, как я его себе мыслю, этой классификации еще далеко,

не говоря уже о том, что для русского языка все дело надо начинать сначала.<sup>1</sup>

Практическая надобность в идеологических словарях явствует из заглавий первых попыток подобного рода. Самой первой является, по-видимому, *Thesaurus of English Words and Phrases classified and arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition* (для облегчения нахождения способов выражения понятий и для помощи при составлении сочинений) — by Peter Mark Roget, M. D., F. R. S., 1852. Книга эта переиздавалась 76 раз сыном и внуком автора, в последний раз, кажется, в 1935 г.

Французский pendant к книге Роджета составлен в 1859 г. Т. Робертсоном под заглавием *Dictionnaire idéologique, Recueil des mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de la langue française, classés selon l'ordre des idées*;<sup>2</sup> немецкий pendant сделан Шлессингом в 1881 г. под заглавием *Der passende Ausdruck* (в 1927 г. вышла переработка этой книги: *Schlessing-Wehrle, Deutscher Wortschatz. Ein Hilfs- und Nachschlagebuch der sinnverwandten Wörter und Ausdrücke der deutschen Sprache*).

Другая книга в этом роде, внушенная идеями Роджета, принадлежит перу известного немецкого лексикографа Даниеля Сандерса и вышла в двух томах под заглавием *Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen zur leichten Auffindung und Auswahl des passenden Ausdrucks* (для легкого нахождения и выбора подходящего выражения) и с подзаголовком *Ein stilistisches Hilfsbuch für jeden Deutsch schreibenden* (стилистикальное пособие для каждого пишущего по-немецки), Hamburg, 1873—1877.

Совсем недавно вышла интересная, более самостоятельная, хотя в основном и продолжающая Роджета книга Франца Дорнзейфа *Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen*, 1934.

Действительно, если потребность припомнить наиболее подходящее слово для выражения той или другой мысли не так часто обнаруживается в применении к родному языку (это справедливо, конечно, лишь по отношению к людям, абсолютно владеющим соответственным литературным языком), то в применении к иностранному языку она встречается на каждом шагу.<sup>3</sup>

То же надо, конечно, сказать и о русском языке в тех случаях, когда его употребляют нерусские: я имею в виду наших националов, для которых вопрос безусловного владения русским языком становится все более и более актуальным.

Но еще более обещают дать идеологические словари в теоре-

---

<sup>1</sup> Не следует забывать и того, что всякая идеологическая классификация подразумевает определенное мировоззрение и что с этой точки зрения все старые классификации для нас неприемлемы.

<sup>2</sup> Книга выдержала несколько изданий, последнее в 1894 г.

<sup>3</sup> Об опасностях переводных словарей, к которым обыкновенно в этих случаях прибегают, будет сказано в следующем разделе.

тическом отношении. В самом деле, мы всегда подходим к языку с его формальной стороны и уже от нее переходим к идеям, и в этом нет ничего порочного. Брюно в своей книге «La pensée et la langue» попробовал перевернуть грамматику французского языка и изложить ее, исходя из идей, а не от форм. Идеологические словари делают то же самое в применении к словам и в конце концов должны дать материал для построения истории мышления, отраженного в языке. Я полагаю, что тогда-то и вскроются многие причины языковых изменений, которые для нас сейчас совсем не видны. Я полагаю, между прочим, что на базе хороших этимологических и исторических словарей можно будет тогда написать новые захватывающие книги, которые, исходя из понятий, будут рассказывать, почему то или другое понятие получало новую форму выражения, как рождались новые понятия и как разлагались старые и т. п.

Разных типов словарей, преследующих те же практические цели, что и идеологические словари, довольно много. Во главе их можно, пожалуй, назвать P. Bossière — *Dictionnaire analogique de la langue française. Répertoire complet des mots par les idées, des idées par les mots*, впервые вышедший в 1862 г. и выдержавший не менее девяти изданий. Его наследником является словарь Ch. Maquet с почти тождественным заголовком *Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les idées, des idées par les mots*, 1936 г. Эти словари дают группу слов, связанных по смыслу (par analogie) с определенными словами-центрами. Эти слова-центры, расположенные в алфавитном порядке, и составляют основу словаря, который снабжен, кроме того, алфавитным указателем всех слов, находящихся в группах, с соответствующими ссылками.

По сути то же самое представляет собою словарь Paul Rouaix — *Dictionnaire-manuel illustré des idées suggérées par les mots contenant tous les mots de la langue française, groupés d'après le sens*, 1911.

Как было сказано выше, до известной степени те же практические цели преследуют бесчисленные словари синонимов на разных языках. Пользуясь случаем, чтобы отметить недурной, недавно вышедший французский словарик антонимов M. Rameau et H. Yvon — *Dictionnaire des Antonymes ou Contraires avec indication des synonymes*, 1933.

К типу идеологических словарей, пожалуй, надо отнести «vocabulaires par l'image». Мне известен, к сожалению, только один такой словарь (который я считаю в общем очень удачным): A. Pinloche. *Vocabulaire par l'image de la langue française comprenant 193 planches avec 6000 figures accompagnées de leurs légendes explicatives et un vocabulaire idéologique*. Paris, Larousse, 1923. Он разделен, как и все идеологические словари, на отделы: в первой части (Человек) имеется 13 отделов (человеческий род, питание, полеводство и садоводство, одежда

и т. д.); во второй (Вселенная) — 6 отделов (изучение природы, небо и земля, время и т. д.). Каждый из отделов состоит из таблиц, наглядно иллюстрирующих относящиеся к данному отделу понятия, с легендами и комментарием, и из списков понятий (*les idées*), относящихся к данному отделу, но не поддающихся иллюстрации. И те и другие, конечно, классифицированы, и каждый отдел имеет свое оглавление. Каждая таблица по сходству или по смежности удобно объединяет целый ряд взаимосвязанных между собою предметов. Подобный словарь, если он хорошо сделан, оказывает часто неоценимые услуги при поисках того или другого нужного слова на иностранном языке. Будучи снабжен алфавитным указателем, он может быть использован и как иллюстрированный толковый словарь.

Отчасти на тех же основаниях построен Иллюстрированный технический словарь на шести языках — немецком, английском, французском, русском, итальянском и испанском — при участии издательства Р. Ольденбурга, обработанный инженером А. Шломаном (Издание Бюро иностранной науки и техники ВСНХ в Берлине). Я полагаю, что серьезные технические дифференциальные (т. е. служащие для перевода с одного языка на другой) словари в общем так и должны делаться. Розыск слова, перевод которого на тот или другой язык хотят узнать в них, вполне обеспечивается алфавитными указателями, помещенными в конце каждого тома, и с этой стороны в словарях Шломана все обстоит благополучно. Однако было бы желательно облегчить розыск слов в тех случаях, когда по тем или другим причинам приходится отправляться от соответствующего понятия, а не от слова. Для этого надо отделы сделать более дробными, увеличить число иллюстраций и в нужных случаях прибавить кое-какие объяснения. В технической терминологии дело вовсе не обстоит так блестяще, чтобы, если знать название какого-либо предмета на одном из шести языков, то у Шломана обязательно можно было бы найти его перевод на пять других языков. Прежде всего данного названия может не оказаться в указателях, особенно если оно имеет более употребительные синонимы или если оно просто ускользнуло из поля зрения редактора (что случается гораздо чаще, чем это себе представляют специалисты). С другой стороны — и это самое главное — перевод может оказаться не тот, который нужен, поскольку самые понятия дифференцированы зачастую по-разному в разных областях техники и в разных языках (ср. сказанное в следующем разделе по поводу ошибочности обывательского мнения, будто системы понятий в разных языках адекватны).

В заключение надо подчеркнуть, что с теорией технических словарей дело обстоит ничуть не лучше, чем с теорией других словарей, а может быть даже хуже, поскольку все думают, что здесь и не надо никакой теории и что достаточно быть инженером, чтобы разбираться в этих вопросах.

## 5. Противоположение пятое: толковый словарь — переводный словарь

Толковые словари возникают обыкновенно в применении к тому или другому литературному языку либо в целях его установления, его нормализации (Словарь Французской академии), либо в целях пояснения тех или других его элементов, являющихся по каким-либо причинам не вполне понятными, в конечном счете, следовательно, тоже в целях установления литературного языка, но скорее в смысле его обогащения, а главное — лучшего освоения его богатств. Толковые словари в первую очередь предназначаются для носителей данного языка.

Переводный словарь возникает из потребности понимать тексты на чужом языке. С удовлетворением этой потребности, однако, часто связывается и процесс становления национального языка путем перевода богатств чужого литературного языка.

При этом совершенно независимо от метода нахождения нужного эквивалента (простое заимствование, кальк, переносное употребление какого-либо своего слова или закрепление за своим словом с общим и более или менее подходящим значением точного значения иностранного слова),<sup>1</sup> прежде всего происходит заимствование самого главного — понятия. Здесь любопытно отметить, что поскольку большинство литературных языков Европы возникли под влиянием латинского, а в дальнейшем все время влияли друг на друга, постольку в основе большинства европейских литературных языков лежит более или менее одна и та же система понятий. Поэтому-то перевод с одного европейского языка на другой гораздо легче, чем, например, с китайского или санскритского на любой европейский.<sup>2</sup>

О трудностях, стоящих перед толковыми словарями, достаточно сказано в разделе 3-м. Что касается переводных словарей, то их принципиальная ошибка в предположении адекватности систем понятий любой пары языков. Я старался уже показать ошибочность этого предположения в предисловии к своему Русско-французскому словарю, где указывал также на те печальные практические последствия, которые вытекают из недооценки этого обстоятельства.

Я не буду приводить здесь тех бесчисленных и очевидных фактов, когда фонетические слова, абсолютно равнозначные в одном из своих значений, имеют разные другие значения. Так, слова *table* и *стол* переводят друг друга в ряде значений; но по-французски *table* значит также 'доска (для надписи)', 'таблица',

<sup>1</sup> К сожалению, работ по становлению лексики русского литературного языка до сих пор почти никаких не имеется, хотя эти работы и должны были бы быть первоочередными.

<sup>2</sup> В этом плане вполне можно говорить о «системе европейских языков» (этот последний термин, конечно, неточен).

а по-русски *стол* значит и 'отделение канцелярии'; слова *verre* и *стекло* также переводят друг друга; но *verre* значит и 'стакан', а *стекло* значит и 'оконное стекло' (по-французски *vitre*) и т. п. Я попробую дать здесь сравнительный анализ ряда слов-понятий русского и французского языков, чтобы показать, что в большинстве случаев они не покрывают друг друга. Начну с более грубых случаев: французскому *bleu* соответствуют по-русски и *синий* и *голубой*; по-французски и *рюмка* и *стакан* будет *verre*; по-русски и *poil* (в одном из своих значений) и *cheveu* и *crin* будет *волос*. Русскому *борода* не вполне соответствует французское *barbe*, которое обозначает всю растительность на лице мужчины; хотя французское *laineux, duveteux, peluché* и не совпадают друг с другом, однако все их приходится переводить русским *пушистый*. Далее, французское *guéridon* определяется в словаре Академии как 'sorte de meuble qui n'a qu'un pied et qui sert à supporter des objets légers'; по-русски мы назвали бы это 'столик для...'. Отсюда следует, что по-французски *guéridon* не подводится под понятие *table* и что это последнее несколько уже русского *стол*. Французское *flacon* переводится в словаре Ганшиной 'флакон, пузырек, склянка'. Очевидно, что он ни то, ни другое, ни третье. *Кипяток* не то же, что *eau bouillante*, так как мы говорим даже *холодный кипяток* и так как он во всяком случае не обязательно должен кипеть. Французское *eau*, как будто, вполне равно русской *воде*; однако образное употребление слова *вода* в смысле 'нечто лишенное содержания' совершенно чуждо французскому слову, а зато последнее имеет значение, которое более или менее можно передать русским 'отвар' (*eau de ris, eau d'orge*). Из этого и других мелких фактов вытекает, что русское понятие *воды* подчеркивает ее пищевую бесполезность, тогда как французскому *eau* этот признак совершенно чужд. Русские *суровый, строгий* по отношению к человеку являются четко разными понятиями (антоним первого — *нежный*, антоним второго — *слабый*). Но для того, чтобы выяснить отношение этих понятий к французским *austère, sévère, rude*, которые встречаются в качестве перевода указанных русских слов, нужно написать целое исследование. Примеры можно множить без конца, но и приведенных достаточно для того, чтобы сказать, что громадное большинство слов-понятий любого языка несоизмеримо со словами-понятиями всякого другого языка. Безусловные исключения составляют только термины: русская *вода* как химический термин (H<sub>2</sub>O), конечно, абсолютно тождественна французскому *eau*; но как бытовые понятия они не совпадают.

Вот несколько примеров, подтверждающих сказанное, из сопоставления немецкого и русского языков: *Fabel* конечно значит 'басня' в нашем смысле; но *Fabel* значит и 'фабула' — значение, которого наша *басня* не имеет. У нас *басня* нечто нравоучительное; по-немецки *Fabel* прежде всего нечто сказочное. С другой стороны, по-русски можно сказать: *все это басни*, а по-немецки



нужно сказать *das ist Fabelei* и т. д. Наше *фабриковать* имеет неодобрительный оттенок, немецкое *fabrizieren* его не имеет. Немецкое слово *Fach* так многообразно по своим, хотя и связанным между собой, значениям, что невозможно указать ему никакой даже отдаленной параллели в русском, а переводы отдельных его значений совершенно уничтожают их внутреннюю форму. *Blass* и *fahl* переводятся по-русски словом *бледный*, не будучи, однако, полными синонимами; но *бледная надпись* нельзя перевести ни *blasse Aufschrift*, ни *fahle Aufschrift*. *Fahne*, конечно, 'знамя'; но по-русски акцент понятия лежит в идеологии, и русскому человеку трудно понять, что переносно *Fahne* может значить 'гранка' (типографский термин), что обусловлено, однако, чисто материальным представлением слова-понятия *знамени* в немецком. *Fahren* переводится всегда 'ехать, ездить, поехать'; на самом деле значение его гораздо шире — '(быстро) передвигаться вперед'. *Farbe* отвечает по-русски двум разным понятиям — 'краска' и 'цвет', причем по-русски говорится, конечно, *цвет лица*, но также и *она потеряла краски*, т. е. побледнела и т. д. и т. д. Примеры можно множить без конца: я беру их из словаря подряд на букву *F*.

Не могу удержаться от того, чтобы не привести еще обычного сопоставления русской *иглы* и немецкого *Nadel*. Как было уже разъяснено выше, в 3-м разделе, эти слова вовсе не совпадают: русское *игла* прежде всего 'швейная игла', немецкое *Nadel* — всякое тоненькое заостренное приспособление' (в том числе и 'игла', и 'булавка', и 'шпилька', и 'листок хвой' и т. п.). Между тем в громадном большинстве словарей славянских языков, включая и этимологический словарь Бернекера, соответствия слова *игла* переводятся немецким *Nadel*, что ставит исследователя, не владеющего всеми славянскими языками как родными, в безвыходное положение, если он хочет отыскать первоначальное значение славянской *иглы*, так как остается совершенно неясным, что обозначает в каждом отдельном случае немецкий перевод.

Из всего сказанного вытекает, что обычные переводные словари не дают настоящего знания иностранных слов, а лишь помогают догадываться о их смысле в контексте. В самом деле, когда и *austère* и *sévère* даются в словаре как 'строгий, суровый', то только из контекста можно догадаться, о чем именно идет речь. При этом по большей части догадки приводят даже в лучшем случае к неточному пониманию. Кроме того, переводные словари, переводя иностранное слово тем или другим своим словом, совершенно не заботятся о многозначности этого последнего; а потому человек, добросовестно выписывающий слова из такого словаря и их заучивающий, сплошь и рядом будет попадать впросак. Так, прочитав, что *brasser* значит 'мешать', он легко может подумать, что это синоним 'препятствовать', а если нет, то конечно решит, что можно сказать *brasser son thé, brasser*

*les cartes* и т. п.; прочитав в словаре, что второе значение *brider* будет 'крепко завязывать', читатель будет уверен, что можно сказать *brider sa malle avec une corde*; прочитав, что *laboratoire* значит и 'мастерская', читатель такого словаря легко может прийти к мысли, что можно сказать *j'ai porté cette clef au laboratoire chez le serrurier*; прочитав, что *lacté* значит 'молочный' — что можно сказать *nourriture lactée*. Примеры беру наудачу, раскрывая хороший переводный словарь: их можно приводить тысячи.

Ввиду всего этого всякий настоящий педагог советует своим ученикам как можно скорее бросать переводные словари и переходить на толковый словарь данного иностранного языка. Таким образом, переводный словарь оказывается полезным разве только для начинающих изучать иностранный язык. Можно разными примечаниями и примерами частично устранять недостатки переводных словарей. Одним из излюбленных приемов передачи слов в тех случаях, когда они не имеют точного перевода, является приведение ряда quasi-синонимов, условно разделяемых в этих случаях запятой (точкой с запятой разделяются особые оттенки значения переводимого слова). Примеры см. выше: *sévère* — 'строгий, суровый'; *flacon* — 'флакон, пузырек, склянка' и т. д. Это, конечно, какой-то выход из положения в том смысле, что сигнализируется своеобразие значения переводимого слова (хотя формально этот случай оказывается ничем не отличенным от приведения ряда настоящих синонимов).

Радикальным решением вопроса явилось бы, по-моему, как я это указывал в предисловии к моему Русско-французскому словарю еще в конце 1936 г., создание толковых иностранных словарей на родном языке учащихся, где, конечно, могли бы фигурировать и переводы слов во всех тех случаях, когда это упрощает толкование и нисколько не вредит полному познанию настоящей природы иностранного слова. Что такой толковый словарь несомненно значительно увеличился бы в объеме по сравнению с обыкновенным переводным, меня, откровенно говоря, не пугает; в самом деле нет никаких причин, чтобы ходовой иностранный словарь обязательно имел 100 авторских листов, а не 150, если это последнее требуется существом дела. Но этот тип словаря надо еще выработать, и это тем труднее, что и толковые словари, как я старался показать в разделе 3-м, находятся еще далеко не на должной высоте.<sup>1</sup>

Поэтому переводные словари впредь до создания нового типа словаря остаются все же нашим *malum necessarium*, недостатки которого надо стараться смягчить разными паллиативами, что может, в конце концов, окольными путями привести к созда-

<sup>1</sup> Поскольку это моя идея и поскольку я давно ясно вижу пути ее осуществления, я должен был бы взять на себя почин в этом деле. К сожалению, не менее неотложные научные задачи мешают мне пока приступить к нему.

нию того типа иностранного словаря, который мне рисуется как идеал.

Многие, познакомившись с французским Ларуссом, считают его идеалом и предлагают просто переиздать его. Я тоже считаю его прекрасным словарем и достойным всяческого подражания в качестве образца для русского толкового словаря, как об этом говорил еще В. И. Ленин; но в качестве словаря иностранного языка он не годится для людей, еще плохо знающих французский.<sup>1</sup>

Поэтому, всячески поддерживая мысль об его переиздании — потому что это просто сделать — для старших курсов наших языковых вузов (конечно, с надлежащими идеологическими поправками), я тем не менее полагаю, что его, кроме того, надо перевести на русский язык и вообще сблизить с ним на разных путях, т. е. создать новый тип толкового французского словаря на русском языке.

Однако особый тип переводного словаря все же должен остаться для людей, не очень хорошо знающих иностранный язык, которым тем не менее приходится время от времени что-либо переводить на этот язык. Вообще говоря, основное правило грамотной методики преподавания иностранных языков состоит в том, что не следует даже умственно переводить с родного языка, а стараться думать на иностранном языке в меру своих познаний, прибегая в случае надобности к идеологическим или синонимическим словарям, а также к хорошим толковым иностранным словарям, но отнюдь не к переводным. Однако в применении к практической жизни это предполагает довольно высокий уровень навыков владения иностранным языком. Поэтому все же нужен словарь, который позволил бы человеку, знающему основы грамматики данного языка в ее активном аспекте (опыт именно такого аспекта грамматики дан мною в приложении к моему Русско-французскому словарю), переводить на иностранный язык нехудожественные тексты без грубых ошибок. Такой словарь, будучи предназначен для русских, вовсе не должен давать иностранцу полного понимания значения русских слов, а должен дать русскому человеку точные указания, как он должен переводить русские слова в разных контекстах, чтобы быть не только понятным, но и не смешным. Этим тоже никогда не занимались переводные словари, и мой столько раз упоминавшийся Русско-французский словарь является первым сознательным опытом переводного словаря указанного типа. Опыт этот, конечно, может

---

<sup>1</sup> Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание на малоизвестный у нас, но тоже превосходный толковый словарь немецкого языка Pinloche'a, вышедший также в издательстве Ларусс, и на замечательные словари английского языка: Webster'a — New International Dictionary of the English Language, 1934, и Funk and Wagnalls — New Standard Dictionary of the English Language, 1939 (последний с американским уклоном).

быть значительно улучшен при более последовательном проведении основной целеустановки, чему мешала невозможность откровенной установки — русско-французский словарь для русских, а также невозможность чрезмерного расширения грамматического и стилистического аппарата.

Резюмируя настоящий раздел, я повторю то, что уже сказал в предисловии к моему словарю: для всякой пары языков нужно четыре словаря — безусловно два толковых иностранных словаря с объяснениями на родном языке пользующегося данным словарем и в зависимости от реальных потребностей — два переводных словаря с родного языка на иностранный специального (в вышеуказанном смысле) типа.

## 6. Противоположение шестое: неисторический словарь — исторический словарь

Несмотря на кажущуюся четкость этого противоположения, оно при ближайшем рассмотрении оказывается не вполне ясным в применении к существующим словарям. В самом деле, чистый тип академического, или нормативного, словаря (см. раздел 1-й) представляется как будто неисторическим словарем. Спрашивается, становится ли он историческим, если в него включаются факты языка Пушкина, находящиеся в противоречии с современным употреблением, а тем более факты, нам непосредственно не совсем даже понятные? Далее, следует ли считать словарь Литтре и *Dictionnaire général de la langue française* историческими, поскольку они дают довольно обширные сведения по этимологии<sup>1</sup> и даже по истории слов?

С другой стороны, следует ли считать историческим словарем Материалы к словарю древнерусского языка до XIV столетия — Срезневского? Как будто нет и как будто так было и в мыслях автора этого капитального труда. Но что же тогда считать историческим словарем? Словарь бр. Гриммов, Большой оксфордский и другие аналогичные предприятия? При всей их историчности установка их, на мой взгляд, вовсе не историческая: их цель — дать все значения всех слов, принадлежащих и принадлежавших к данному национальному языку за все время его существования.

Историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только возникновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение. Насколько мне известно, такого сло-

---

<sup>1</sup> Сами этимологические словари, хотя и содержат некоторый материал по истории слов, однако вовсе не представляются мне историческими.

варя до сих пор еще нет,<sup>1</sup> и самый тип его еще должен быть выработан.

Вопрос осложняется еще тем, что слова каждого языка образуют систему, как об этом говорилось в 1-м разделе, и изменения их значений вполне понятны только внутри такой системы; следовательно, исторический словарь должен отражать последовательные изменения системы в целом. Как это сделать однако — неизвестно, так как самый вопрос как будто еще не ставился во весь рост. Дальнейшее осложнение он получает еще в связи с тем, о чем говорилось в разделе 4-м, т. е. в связи с тем, будем ли мы создавать историю фонетических слов и их значений, или историю слов-понятий, или, наконец, свяжем все это в одно целое, как теоретически казалось бы более правильным. Все это, однако, только вопросы для будущего, так как материала для их разрешения еще не накоплено.

---

<sup>1</sup> Мне кажется наиболее «историчным» словарь немецкого языка Пауля, хотя он и отирается от современного языка, а потому не может быть назван «историческим» (сам Пауль его так и не называет). В высшей степени «историческим» представляется мне также упоминавшийся выше, в разделе 1-м, *Glossaire des patois de la Suisse Romande* ... rédigé par L. Gauchat, J. Jeanjaquet, E. Tappolet, I, 1924—1933. Наконец, вполне историческим является замечательный *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* par A. Ernout et A. Meillet, 1932, вышедший недавно вторым изданием.

---

## О ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Стенограмма доклада, прочитанного на заседании Института языкознания 15 октября 1936 г.)

Нам приходится часто говорить о том, что, может быть, в школах сейчас еще не нужно применять, но что надо иметь в виду, о чем надо самим думать. Как раз вопрос о второстепенных членах предложения является таким вопросом, о котором надо многим думать, где последнее слово еще далеко не сказано, хотя вопрос этот чуть ли не столетней давности.

Поэтому то, что я вам скажу сегодня, не только не должно являться для вас последним словом (вы можете даже с успехом забыть то, что я вам скажу, и, может быть, это будет самое лучшее), но оно и для меня далеко не является последним словом, ибо на эту тему я уже имел случай говорить в прошлом году весной. Однако есть большая разница между тем, что я думал весной в прошлом году, и тем, что я думаю сейчас. Я иду вперед, и для меня ясно, что то, что я сейчас думаю, не окончательная стадия.

На это можно сказать: «Зачем же тогда делиться такими незрелыми размышлениями? Дайте готовенькое, и все будет в порядке». А я думаю, что в этом смысл нашего собрания и вообще всяких собраний, ибо мысль, и особенно научная, часто, конечно, куется в тиши кабинетов, но она куется также и в коллективе. Поэтому ваше участие драгоценно прежде всего для меня именно в этом смысле. Мне думается, что именно таким образом, сообщая мы скорее придем к чему-нибудь плодотворному, хотя отнюдь этого нельзя ожидать только в результате обмена мнений сегодня. Я буду доволен (это моя цель), если у вас окажется несколько таких мыслей, которые мне раньше и в голову не приходили, если благодаря обмену мнений я получу критику и зарядку для дальнейшей работы.

Второстепенные члены предложения, т. е. дифференциация их, как-то потеряли в последнее время всякий кредит, но не надо думать, что это только в последнее время. Я просматривал старые статьи и книги по этому поводу и должен сказать, что и в прежние времена в этом отношении картина была весьма пестрая и не единообразная.

Я скажу больше — в старые времена и значения второстепенным членам предложения придавалось мало, и вообще говорилось об этом как-то мимоходом, между прочим. Во всяком случае никакого большого вопроса тут, может быть, и не было.

Вы знаете, что в последнее время, стараясь упростить дело, колебались в этом вопросе.

Многие из нас прекрасно помнят, что был такой период, когда во фразе 'дом отца' — 'отца' было определением. И вообще полагалось все, что относится к существительному, считать определением. А потом сказали: нет, это не научно. И с большим пафосом, с большим воодушевлением начали говорить, что единственно научное рассуждение следующее: если имеется прилагательное, то это определение, а если существительное в косвенном падеже, то это не определение.

Я должен сказать, что эту метаморфозу я пережил на своей шкуре, и как преподаватель также, и к этой метаморфозе относился весьма скептически. Впоследствии, когда стали размышлять, то и другие стали относиться скептически и усумнились: так ли это в действительности.

И правда, ведь если можно с жаром утверждать, что это научно, что в 'дом отца' — 'отца' — это определение, и с меньшим жаром говорить, что это дополнение, то ведь выходит, что нет различия между понятиями дополнение и определение, по крайней мере никакого общеобязательного для всех. Ведь такой логический вывод и приходится сделать. Вот почему как-то отчаялись и стали избегать дифференцировать так называемые второстепенные члены предложения.

Как я уже сказал, я попытался подойти к вопросу исторически, но я увидел очень скоро, что надо, может быть, докторскую диссертацию написать на тему, откуда эти все понятия пошли и откуда пошло то, что в 'дом отца' — 'отца' есть определение и т. д.

Обычно говорят, что это логическая точка зрения и что она от Буслаева исходит. Действительно, у Буслаева есть что-то в этом смысле, но в общем он, конечно, в основном и в маленьком своем учебнике стоит именно на формальной точке зрения, и его, по-моему, зря в этом обвиняют. У меня общее впечатление такое, что в старину эта точка зрения очень была сильна: прилагательное — определение, существительное в косвенных падежах — дополнение.

Вообще в старые времена как-то этому глубокого значения не придавали. Иногда говорили, что это все определения. Вообще никакой особой принципиальности я не увидел, и не увидел главным образом глубины мысли во всем этом. По-моему, также и Буслаев к этому вопросу не подходил с особым азартом. А вот его эпигоны, действительно, из этого сделали какой-то краеугольный камень.

Если просмотреть западноевропейские языки, как я это сделал мимоходом, там в этом отношении картина тоже страшно пестрая. И там вопрос разрешается по-разному, и там ему особого значения не придают. Например, в одном из ходовых немецких учебников ученого Зютерлина атрибутом называется все, что относится к существительному, а то, что относится к глаголу, — все *Ergänzung*. Он даже не особенно стоит за то, чтобы отличать обстоятельства и объект. Об этом говорится где-то в скобках, чувствуется совершенно пренебрежительное отношение к этому вопросу, чувствуется, что это даже не составляет для него особого вопроса.

Я считал бы, что история этого вопроса с чисто лингвистической, педагогической точки зрения, с точки зрения развития мысли в прикладной лингвистике и вообще лингвистике (без слова прикладной), все же представляет интерес.

Одно время я думал, что пресловутый Беккер играл какую-то роль, но, по-видимому, это не так. Вообще это вопрос сложный, и я его никак не решил, потому что для того, чтобы решить этот вопрос, нужно потратить несколько лет жизни, а мне кажется, что в моем возрасте не стоит приниматься за это дело. Есть для меня более интересные задачи, которые мне хочется в остаток времени сделать, а для молодого человека это интересная тема, которая даст ему очень много в этой области, причем из этой темы может быть сделана не одна диссертация.

В конце концов из всего этого ясны две вещи. Во-первых, ясно, что какое-то простецкое разрешение вопроса — простецкое, т. е. формалистическое разрешение вопроса — ничего не дает: что определение — это прилагательное, дополнение — это косвенные падежи существительного с предлогами или без них (все падежи, кроме винительного), а что обстоятельство — наречие. Ясно, какая цена этому. Ведь это тавтология. Абсолютно никакой познавательной цены это не имеет.

Вообще, поскольку возможно такое разномыслие и в предметах, которые у всех на глазах, ясно, что еще понятий нет. Или выходит так, что под термины подгоняется что-то такое, а раз можно под один или другой термин подогнать совершенно разные вещи, то ясно, что нет понятия и что термин гол, а следовательно, все это надумано. В конце концов выходит, что вместо того, чтобы говорить: «то, что относится к существительному», т. е. говорить два слова, говорят одно — определение. Никакого нового факта нет. Поэтому и возникает такое пессимистическое отношение к этому вопросу. Но, с другой стороны, не зря же люди выдумывали эти термины; вероятно, под ними что-то кроется, какие-то наблюдения, какие-то факты под ними скрываются, и только надо попробовать посмотреть, нет ли чего-нибудь в языке, что все-таки заставляет искать чего-то дальнейшего, какой-то дифференциации, одним словом, заставляет не останавливаться на такой упрощенной схеме.



Хотя эти две точки зрения, формалистская и старая, назовем логическая (хотя это название ни к чему), исключают друг друга, но вообще все-таки что-то, может быть, можно наметить. У меня целый ряд соображений по этому вопросу давно уже есть. К моему большому удовольствию, я увидел, что в нашем журнале «Русский язык в школе» появились три статьи: статья Малаховского, которая, по моему мнению, ничего интересного не дает (она излагает историю вопроса, да и то неполно, может быть, еще меньше, чем я сделал в этом смысле для себя; я бы сказал даже, что она присоединяется к одной из формалистических точек зрения), статья Шапиро, которая тоже дает очень мало, и статья Аванесова «О второстепенных членах предложения». Эта последняя меня порадовала, так как она нащупывает не то что новое, но что-то хорошее. По-видимому, эта статья до известной степени является отражением того направления мыслей, которое существует в Наркомпросе. Она возвращается к этим терминам «определение», «дополнение», «обстоятельство», но возвращается к ним не совсем в старом, я бы сказал, буслаевском смысле или в смысле Смирновского и Кирпичникова, а со значительными поправками и изменениями, которые направлены в сторону большего углубления в суть вещей, что я всячески приветствую. Связывается это углубление со старыми вопросами, на которые отвечают второстепенные члены предложения. Однако и в том виде, как это Аванесовым сделано, эти вопросы являются каким-то внешним средством; но помимо этого есть какое-то существо дела, имеется какое-то наблюдение над семантикой. Это показалось мне весьма интересным и знаменательным шагом вперед. Однако, если на этот путь вступить, и Аванесов со всей осторожностью на него вступает, то часто будет неясно, какой же вопрос задать. Однако Аванесов доказывает, что это будет вовсе не так трудно. Я должен сказать, что, конечно, если в это дело вникать дальше как следует, идя по пути Аванесова и по пути, по которому я шел, то это хитрая вещь. Вместо той идеальной простоты, которая имеется у Смирновского и Кирпичникова, мы имеем весьма мудреный и сложный анализ, но я этого не боюсь, т. е. конечно, с научной точки зрения бояться тут нечего, но и со школьной точки зрения бояться также не приходится.

Разрешите мне вас, здесь присутствующих, а педагогов вообще, т. е. педагогов всех времен, немножко упрекнуть в том, что они стремятся упростить факты языка, формализовать их и тем вырвать из своих собственных рук одно из глубочайших образовательных средств. Ни один предмет, ни математика, ни какой другой, не является таким образовательным, как языки. Но понятно, что это трудный предмет. И вот этот формалистский или логический ответ Смирновского или Кирпичникова — это все ответы, данные педагогической практикой, которые затушили суть дела, затушили язык как выразительное средство и фор-

мализовали так, что каждый человек, не думая совершенно о языке, не думая о смысле фразы, может великолепно говорить, где подлежащее, где определение, где дополнение, безошибочно, не вникая в суть вещей.

Это удобно, но это ни к чему. Я думаю, что эта упрощенная терминология и упрощенное подведение под какие-то те или иные правила есть результат работы школы, которая хотела все дело упростить и которая непонятным для меня образом боялась этого углубленного понимания языка.

Я понимаю, что тут может быть ряд неудобств. Один учитель говорит одно, другой — другое, в зависимости от того, кто в какой мере способен вникать в наблюдения над языком.

Но вина большая лежит и на представителях науки. Наша лингвистическая наука в целом, конечно, должна этим заниматься, а она до сих пор презирала эти вопросы. Она считала: вы там, преподаватели, путайтесь в этих вопросах, а наше дело заниматься этимологиями, что от чего произошло и т. д. Это глубоко неправильно, хотя исторически это и оправдывается открытиями Боппа и целой плеяды ученых, но практически получился колоссальный разрыв между наукой и школой. Действительно, нам надо заняться этим вопросом, но я не имею такого высокого мнения о себе, чтобы считать, что я могу разрешить этот вопрос. Я даже не даю никакой системы, я только обращаю ваше внимание на целый ряд вещей.

Так как то, что я буду говорить, не система, то порядок изложения безразличен. Начну с так называемого «определения».

Аванесов и Шапиро говорят, что «определение» — это тот член предложения, который отвечает на вопросы *чей, какой, который*, и почему-то пропускают *сколько*, не объясняя этого.

Формалисты говорили чепуху, что 'пять' есть подлежащее, а 'солдат' — определение. Может быть это было так, когда 'пять' считали за 'пяток', но сейчас это не так: 'пять солдат' мы не говорим, но смысл в том, что 'пять' относится к 'солдат'. И все-таки здесь вопросы *какой* или *который* не подходят. Конечно, 'пять' не дополнение. Если уж на то пошло, 'пять' все же скорее определение. Но все-таки это своеобразная вещь, и едва ли удобно валить в ту же кучу 'пять книг' и 'хорошие книги' — это все-таки разные вещи. Я признаю, что 'пять' относится к книгам, и это вскрывается в дальнейшем: мы не говорим 'пятью книг', а говорим 'пятью книгами'. Значит определяемым являются 'книги'. Но все-таки и в сочетании 'пятью книгами', и в сочетании 'хорошие книги' по грамматическому соотношению, по смыслу суть едва ли одна и та же. В одном случае мы имеем дело с каким-то признаком, свойством, качеством, а 'пять книг' — в этом сочетании мы не имеем ни свойства, ни качества, а что-то другое. Поэтому и отношения между определяемым и определяющим будут другие.

Интересно, что ни Аванесов, ни Шапиро не дают ответа, а что

же будет 'пять' (в сочетании 'пять солдат'). Я тоже не знаю, что это будет. Вывод отрицательный, но его очень легко сделать, констатировав, что это особый случай.

Отношение между числом вещей и качеством вещей неодинаковое. Таким образом, я становлюсь на точку зрения семантическую, но, конечно, не отдельных слов, а семантики отношений между каждой данной парой слов. Вот к чему надо пристально присматриваться и где можно найти ответ на вопрос о том, что это такое. Априори ясно, что определение, дополнение и т. д. есть термины синтаксического порядка, и здесь и надо искать; если есть что-нибудь, тут и надо найти.

Но еще хуже обстоит дело с вопросом *чей*. Тут я позволяю себе обвинить Аванесова, который от формализма как будто отошел целиком, но в данном случае, по-моему, стоит на совершенно формалистской точке зрения. Он считает, что слово, отвечающее на вопрос *чей*, — определение. Отсюда у него выходит следствие: чья книга? — 'сестрина книга'. Поэтому 'сестрина' — определение.

И дальше: чья книга? — 'книга сестры'. Поэтому 'сестры' — определение. Но почему у него вышло, что 'сестры' определение? Потому что отвечает на вопрос *чей*. А почему слово, отвечающее на вопрос *чей*, определение? Потому что это прилагательное. Но ведь это как раз своеобразие русского языка, ни в одном западноевропейском языке этого нет. И все-таки я скажу, что считать 'сестрина' определением это значит уравнивать 'сестрина' и 'хорошая' книга. С этим я никак не могу согласиться. По-моему, это все-таки кардинально разные вещи: 'книга сестры' и 'хорошая книга'. Ведь никто не будет говорить, что 'книга моей сестры' — это тоже определение. В одну кучу валить отношения качества, свойства и предмета и отношения двух предметов, взаимные отношения их друг к другу, конечно, противоестественно. 'Человек с зонтиком' — что такое 'с зонтиком'? — Определение, так как отвечает на вопрос: какой человек? Но Аванесов в сочетании 'человек с зонтиком' не хочет считать 'с зонтиком' определением, а 'книга сестры' — 'сестры' остается определением. Почему? — Потому что отвечает на вопрос *чей*. Значит — определение.

Тут я сочинил два примера: 'когда я был маленьким, я не видел проявлений любви отца, но уверен был в его хороших ко мне чувствах'. И второй: 'любовь отца играет большую роль в воспитании'.

Я считаю, что в первом случае — это не определение. Дополнение или как хотите, но это другой случай. А во втором случае это определение. Т. е. 'я не видел проявлений любви отца' — это будет не определение, а 'любовь отца играет большую роль в воспитании' — это будет определение.

Между прочим, во французском переводе это будет разно. В первом случае придется сказать *avec du père*, а во втором

случае — *amour paternel*, либо без прилагательного: *amour de père*.

Из этого вытекает, что, с моей точки зрения, сочетания существительных с другими существительными в родительном падеже или с предлогами могут иногда относиться в одну группу сочетаний с прилагательными и, допустим, будут условными определениями; но они могут и не относиться в одну группу с ними, смотря по смыслу, который принимает всякое данное сочетание в данном контексте.

С другой стороны, как видно из примера 'сестрина', и прилагательные не надо без думы валить все в одну кучу. Нет, и в прилагательных надо разбираться, хотя здесь это, конечно, хитрее. Я считаю, что ясным примером, когда прилагательное не надо считать за определение, будет, конечно, прилагательное притяжательное 'сестрина книга'.

Как быть с такими сочетаниями, как 'пожарная тревога', да и 'книжная торговля' и 'счастливые слезы'? Без дальних разговоров считать это все за определение? Я не вполне уверен, что в сочетании 'счастливые слезы' — 'счастливые' можно считать за определение, но тут можно спорить. В сочетании 'железный гвоздь' — 'железный', конечно, определение.

Возьму самый курьезный пример: 'пивная бутылка'. 'Пивная' — что это, качество этой бутылки? 'Пивная' — что это значит? Из-под пива. Пример в высшей степени неприятный, но я все-таки думаю, что в сочетании 'пивная бутылка' — 'пивная' с грехом пополам можно считать за определение, хотя здесь, конечно, имеется какой-то семантический скачок, ср. — 'пивной вкус'. Обыкновенно мы все же говорим, что в сочетании 'пивная бутылка' — 'пивная' прилагательное, значит — определение; следовательно, все в порядке. Может быть, среди педагогов есть люди, которые думают вплотную над этими вещами и думают больше, чем я, но я должен сказать, что как только начинаешь думать, то отнесение слова 'пивная' в сочетании 'пивная бутылка' к определению вызывает большие затруднения. Здесь есть один момент, а именно — перенос значения: это не качество бутылки из-под пива вообще, а с переносом значения качества. Лингвистами страшно владеет этимология. Поэтому, так как этимология этого слова очень ясна; то она затемняет смысл слова 'пивная', а ведь здесь не надо думать над этимологией, а надо понимать так, что 'пивная бутылка' — это значит бутылка определенной формы.

Из всего этого рассуждения явствует, что с «определениями» дело обстоит гораздо хуже, чем это на первый взгляд кажется, и нельзя определять с помощью вопросов. Вопросы очень помогают, но вопрос *чей* зря ставить, и некоторые прилагательные, может быть, вовсе не надо считать определением, а некоторые существительные с предлогами или без них, относящиеся к су-

существительному, вовсе не надо считать дополнением, а надо считать определением.

Аванесов очень хорошо говорит, что у нас вообще прилагательное имеет свою определенную функцию, существительное — свою, но в связной речи они меняют иногда свои функции. Это-то нам и нужно. В синтаксисе нам и нужно это понять. Это он очень хорошо сказал. Надо идти до конца по этому пути. Путь этот тернист, но я бы не боялся его. Надо вдумываться в смысл фразы, вдумываться в мысль. Это и есть то, чем надо заниматься.

Я еще несколько примеров приведу из других областей. Относительно дополнения. Если отвечает на вопрос *кого, что*, то это прямое дополнение, а если *куда* — то это обстоятельство. Это решительно плохо. Здесь опять Аванесов впал в настоящий формализм.

*Куда* мы считаем наречием. Значит все, что отвечает на вопрос *куда* — будет наречием. Я решительно не вижу никакой синтаксической разницы между 'я достиг Киева' или 'я получил письмо' и 'я приехал в Киев', 'я приехал сюда'.

'Я приехал' — повелительно требует себе дополнения: должен существовать какой-то предмет, на который бы действие переходило.

В соответствии с этим я считаю, что в сочетании 'любоваться вечером' — 'вечером' дополнение. В сочетаниях 'заниматься с детьми', 'овладеть положением', 'приехать в Киев', 'приехать домой', 'приехать сюда' — 'с детьми', 'положением', 'в Киев', 'домой', 'сюда' — все это прямые дополнения. Я не вижу здесь никакой синтаксической разницы; винительный падеж без предлога — конечно, это преимущественная форма в нашем русском языке прямого дополнения, но она не одна употребляется, имеются и другие формы. Однако иногда от этих глаголов, которые управляют не винительным падежом без предлога, а другими падежами, страдательный залог начинает образовываться. Такие примеры несомненно есть, хотя язык поступает согласно смыслу, а не согласно форме.

Это первое, что я хотел бы сказать из области «дополнения». По-моему, тут без надобности расширяется область «обстоятельства» и сокращается совершенно четкая и ясная область «дополнения». Между прочим, во многих случаях, которые мы считаем обстоятельствами, при переводе на иностранные языки приходится ставить винительный падеж. Это показывает, что у нас наша форма — это пережиток, а что, вообще говоря, там винительный падеж. Даже при таких глаголах, как 'приехал', в латинском языке употреблялся винительный падеж.

Еще несколько замечаний о соотношении «обстоятельства», косвенных «дополнениях» и т. п. вещах.

Прежде всего мне очень трудно понять, почему синтаксически 'быстрая езда' и 'быстро ездить' надо считать за разные члены.

Конечно, можно и разделить, если угодно, но по существу эти вещи очень близки: и там и там — качество, следовательно, нужно это как-то соединить.

Теперь разрешите мне привести три примера, на которых, может быть, кое-что из моих мыслей выяснится:

1) Мой спутник тихим голосом говорил о необходимости считаться с обстоятельствами.

2) Тихим голосом мой спутник говорил про необходимость считаться с обстоятельствами.

3) У моего спутника болело горло, и он говорил тихим голосом.

Я думаю, что это три разных случая.

‘Мой спутник тихим голосом говорил о необходимости считаться с обстоятельствами’ — в этом сочетании ‘тихим голосом’ — определение (громко говорил, тихо говорил). Следует это из места данного сочетания — оно стоит перед глаголом.

Во втором примере ‘тихим голосом’ — я считаю обстоятельством. Внешним, формальным его признаком я считаю то, что его легко вынести, как обособленный член, вперед, не делая из него, однако, логического подлежащего. А ‘громко говорить’ — ‘громко’ не вынесешь, потому что оно неразъединимо с глаголом.

В третьем примере: ‘у моего спутника болело горло, и он говорил тихим голосом’ — я считаю сочетание ‘тихим голосом’ дополнением, потому что в этом контексте ‘говорил’ еще не конец, надо обязательно что-то добавить. Тут ‘тихим голосом’ будет дополнение.

Я бы различал эти три случая: дополнение, обстоятельство и определение, а в дополнении различал бы прямые дополнения и косвенные дополнения.

Можно еще дать пример разницы между дополнением и обстоятельством: ‘он жил в Ленинграде’. Конечно, ‘в Ленинграде’ — дополнение, потому что ‘он жил’ — пустое слово, оно требует еще чего-то в данном контексте, потому что можно просто сказать ‘он жил’, т. е. не был мертв. А в смысле ‘он жил, он обитал’ — надо сказать *где*. Это дополнение.

А ‘он живет в свое удовольствие в Ленинграде, ходит в театры’ и т. д. — здесь, по-моему, не дополнение, а обстоятельство.

Может быть, на этом я остановлюсь, ибо я не стремлюсь вам дать полную картину системы. Я должен сказать, что у меня самого еще полной картины нет, и это мудреная вещь. Может быть, и нельзя ее составить до конца. Язык так сложен и многообразен, что какую-то стройную единую и безусловную картину нельзя составить.

Я только прошу вас считать, что в том или другом отдельном случае я, может быть, не прав, не так анализирую, ошибаюсь просто, но я хотел бы только обратить ваше внимание на то, что в этой области есть еще много такого, над чем надо поду-

мать; а если подумать хорошенько, то вещи предстанут перед нами в гораздо более сложном виде и, как мне кажется, бесконечно интереснее, потому что такой подход к вещам заставляет вдумываться в то, что мы говорим, заставляет глубочайшим образом вдумываться в смысл фраз, которые мы произносим или читаем; а не это ли задача учителя русского языка, с одной стороны, и лингвиста — с другой.

Я считаю, что мы, лингвисты, должны целиком этими делами заниматься не только потому, что это нужно для педагогической работы, но и потому, что это нужно науке.

Я буду совершенно удовлетворен, если для тех, которые скользили по верхам явлений, не будучи верхоглядами (ибо я сам до многого из того, что говорю, не так давно додумался), вопрос о второстепенных членах предстанет в несколько ином виде.

### ИЗ ОТВЕТНОГО СЛОВА

Является ли все это предметом грамматики? Да. Я нахожу, что обстоятельство места, времени — это словарные группы. А то, о чем я говорил, я считаю, что это целиком грамматические вопросы. Я стремлюсь выявить типы отношений между понятиями и словами — коррелятные понятия, и еще типовые отношения. Насколько правильно я нашел эти типы — это другой вопрос.

Я думаю, что на моей обязанности будет лежать — до конца показать, какими средствами все те категории, о которых я говорю, выражаются. Они выражаются вопреки морфологическим формам. Нужно сказать, что все-таки мы находимся под гипнозом морфологических форм, а язык имеет в своем выражении такие выразительные средства, которыми он побеждает морфологические формы, а мы их никак преодолеть не можем. Но это большой разговор, который сейчас, может быть, вести не стоит.

Вы меня заставляете сказать, какие же основные категории я намечаю. Я не хотел этого говорить, потому что я, может быть, откажусь от чего-нибудь. Я хотел только показать, что все сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Все-таки я скажу, какие категории я намечаю, но предупреждаю, что каждую минуту, может быть, завтра мне может показаться, что я ошибаюсь. Сейчас мне представляется так: категория качества или свойства (мне все равно, потому что я выражаюсь здесь житейски, условно), для которой морфологической формой будет прилагательное, — это узаконенная форма в нашем языке. Но оказывается, что это же самое может выражаться и другими средствами. Это же самое соотношение имеем, например, в сочетании 'быстро бегать'. Я твердо на этом стою. Вообще соотношение между наречием 'быстро' и прилагательным 'быстрый' чисто формальное. По существу это одно и то же. Формально мы в категориях это различаем, но по существу это одна категория.

Что такое обстоятельство? 'Быстро бегать' — исключается из обстоятельства. Что же такое обстоятельство? Это то, что не связано тесно со словом, то, что прибавлено, какое-то обстоятельство указывается, но это не дополняет слово, а только дается какое-то окружение, *Umstand*, обстоятельство.

'Сестрина книга' и 'книга сестры'. Я готов для простоты сказать, что это дополнение, но вообще это не совсем тот случай. Это какое-то совершенно новое соотношение двух предметов. Я протестую против того, чтобы считать принадлежность свойством. Если мы возьмем отношение собственника и собственности, какое тут свойство? Это никак под свойство не подвести. Мы привыкли к термину 'сестрина книга', но чудовищно, что это — прилагательное. В нашем языке это исключение.

Что нужно для средней школы? Моя схема, если ее продумать до конца, может быть будет вполне приемлема и для средней школы; только эту схему нужно продумать во всех выводах. Но в общем я согласен, что какими-то путями надо исходить из яркого и из простого. Не нужно стремиться к тому, чтобы все в предложении, особенно в художественном тексте, разобрать по косточкам. Тогда получается полочная схема. Можно все разобрать, можно все разложить по полочкам, но какая цена такой схеме? Поэтому надо брать ясные определения; если будет ясно, что это свойство или качество, то, значит, это «определение».)

В сочетании 'старушка-золото' — 'золото' считается приложением, но я ничего не имею против того, чтобы считать это зарождающейся формой «определения». По-французски это очень характерно. Это почти что выработанный прием, новая форма: существительное, поставленное после слова, к которому оно относится, может принимать значение прилагательного: *femme serpent* — женщина-акробатка, или *gobe couleur gosse*. Так что 'старушка-золото' — это начинающееся в русском языке применение существительного в смысле прилагательного и, как всякое новое, это чрезвычайно красочно звучит.

'Волосы дыбом' — это речение. Не надо анализировать в его частях то, что уже стало речением.

Прилагательные еще у нас не обследованы, а там очень запутанная и сложная картина. Вообще, вы знаете, в словообразовании у нас громадный пробел. Тут могут выясниться любопытные вещи, а именно, что категория прилагательных в русском языке гораздо шире, чем в европейских языках, и имеет какое-то совершенно особое значение. Всякое прилагательное сейчас же приобретает значение качества, например, 'железный характер' 'отцовское чувство' — качественные прилагательные.

Кто-то пишет, что в восточных языках качественные наречия, вроде 'быстро бегать', относятся в одну группу с прилагательными. Правда, там и морфологически нет повода отделять их, как это объективно и следует. Затем я должен сказать, что очень многое из того, что я сегодня сказал, уже сказано в разных



грамматиках и на других языках. Для большинства моих мыслей, если не для всех, получается, что уже кто-то что-то в этом смысле говорил, и я этому очень рад, потому что это значит, что я не так далек от истины, раз и другие люди независимо от меня наталкивались на такие же мысли. Я как раз был этим обстоятельством очень доволен и хотел им похвастать в заключительном слове.

Конечно, наша беда и беда фортунатовской школы в том, что у нас лингвистическое мышление было подавлено индоевропейским строем языков. Благодаря этому мы дошли до того, что стали говорить о грамматическом подлежащем и не грамматическом подлежащем. Оказывается, что в наших языках большинство подлежащих не грамматическое. Это можно объяснить только тем, что у человека, когда он изучал другие языки, чисто морфологическое мышление индоевропейских языков все заслонило и он мог все видеть только через это морфологическое мышление. Наша задача заключается в том, чтобы высвободиться из-под этого влияния и понять, что есть другие языки, которые выражают то же, что и мы — иначе.

---

## ЧТО ТАКОЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ЯЗЫКОЗНАНИИ?

(Тезисы к докладу)

1. Сущность сравнительного метода прежде всего состоит в совокупности приемов, доказывающих историческую идентичность или родство слов и морфем в тех случаях, когда это не очевидно.

2. Эти приемы в основном тождественны как в плане одноязыковом, так и в плане межъязыковом, как в разрезе синхроническом, так и в разрезе историческом, и позволяют иногда восстановить в той или иной мере историю слов данного языка.

3. Разбор этимологий слов *кольцо*, *баранок*, *чадо*, верхнелужицкого *wis* (в приблизительной транскрипции), латинского *taberna*, армянского *erku*.

4. В основе этих приемов лежат строгие фонетические соответствия и чередования, а также правила словопроизводства.

5. Кроме того, сравнительный метод состоит из особой серии приемов, которые через изучение фонетических чередований и соответствий позволяют восстановить в той или другой мере историю звуков данного языка.

6. Применение сравнительного метода в громадном большинстве случаев не подразумевает обязательства какого-либо определенного исторического объяснения вскрываемых им разноязычных тождеств.

---

## РАБОТЫ ПО ФОНЕТИКЕ

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЛОЖНЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКАХ

(Mémoires de la Société de linguistique de Paris, XV, 1908. Напечатано на французском языке под названием «Quelques mots sur les phonèmes consonnes composés»)

После моего пребывания в Германии и во Франции я неоднократно замечал, что для многих лингвистов и даже фонетиков вопрос о сложных согласных звуках не так ясен, как можно было бы подумать,\* потому следующие строки не будут, может быть, излишними. Большинство фонетиков рассматривают эти согласные как состоящие из двух звуков, и так их часто и обозначают в фонетических транскрипциях. См., по этому поводу некоторые замечания Хирта (Hirt. Zur Transkriptions-misère. „Indogermanische Forschungen“, XXI, 152). Целью этой заметки является доказать, что эта точка зрения, по крайней мере в отношении русского языка, неверна по психологическим основаниям.

Я буду говорить здесь только о *c* = немецкому *z*, чтобы не усложнять вопроса, но очевидно, что все, что будет сказано об этом звуке, может быть распространено на другие подобные звуки.

1. В русском языке различается группа *ts* и *c* = немецкому *z*; например, *отсыпке* (= ät/sýp/k'ë)<sup>1</sup> нужно отличать от *цыпке* (= ä/sýp/k'ë); я позволил себе обратить внимание читателей на этот факт потому, что он не часто встречается и не существует, насколько я знаю, в наиболее хорошо известных языках: в немецком есть *c*, но нет *ts*; есть *tš* (Rat-schlag), но нет *č*;<sup>2</sup> как раз обратное положение в английском: в нем есть *č*, но нет группы *tš* (по крайней мере в середине слова),<sup>3</sup> есть *ts*, но никогда не встречается *c*; во французском

<sup>1</sup> Чтобы избежать недоразумений, я должен заметить, для читателей, которые недостаточно знают русский язык, что *отсыпка* — одно слово, *от* — префикс.

<sup>2</sup> Тем не менее встречается *Bratche, deutsch, Dolmetsch, klatschen, lutschen, Quatsch, quetschen, rutschen, watscheln, zwetsche, zwitschern...*, где *tš*, может быть, воспринимается как единый звук, но число подобных слов очень ограничено.

<sup>3</sup> Однако *nightshade, outshine*, но кажется, что слов этого рода очень мало.

нет ни *c*, ни *č*; в итальянском, наоборот, нет сочетаний согласных. В русском языке это различие встречается не всюду, так как старая группа *ts* в большинстве случаев превратилась в *c*, как *двадцатый* (= *dvá/čá/týj* или *dvá/cá/týj*), *детский* (*d'éck'ǐj*) *молится* (= *mó/l'ǐ/čá*).

2. Нет никакого сомнения в том, что *c* состоит из двух элементов, с физиологической точки зрения. См. кривые Ершова (Экспериментальная фонетика. Казань, 1903), которые, впрочем, совпадают с моими и во всяком случае доказывают, что во время артикуляции *c* существует полная смычка и что элементы *c*, по крайней мере в том, что касается места артикуляции, сходны с обычными *t* и *s*. Для скептиков я могу, наконец, упомянуть об очень интересном опыте, сделанном Пасси во время чтения им лекций в Ecole des hautes études, в Париже, в 1907—1908 гг.: он записал на фонографе слова, содержащие *c* и *č*, в произношении представителей разных национальностей, затем стал вращать валик в противоположном направлении, и мы слышали более или менее отчетливые слова со звуками в обратном порядке, т. е. со *st* и *št* вместо *c* и *č*.

Разница между *ts* и *c* в русском, если судить по мускульному ощущению, состоит в следующем: 1) для *c* язык отрывается от нёба после артикуляции *t* лишь в той степени, в какой это необходимо, чтобы достичь положения *s*, которое представляет, таким образом, своего рода взрыв *t*, тогда как для *ts* язык приходит в это положение только после полного взрыва *t*; 2) в сравнительной краткости *s*. Ср. Суит (Sweet) „A primer of phonetics“, изд. 2-е, 1902, § 145. См. также статью Фринта (Frinta), появившуюся недавно в „Maître phonétique“, 1908, май—июнь, и статью Пасси (Passy) в следующем номере.

. Все это хорошо иллюстрируется прилагаемыми кривыми, которые представляют мое произношение:

Линия рта. Начало гласных видно по вибрациям. Рис. 1: заметен очень резкий взрыв *t* и довольно длинное *s*. Рис. 2: заметен очень слабый взрыв смычного элемента. Этот подъем, соответствующий очень краткому щелевому элементу, характерен для звука *c*. Рис. 3: здесь заметно *c* со своим характерным слабым взрывом и довольно длинное *s*.

3. После всего изложенного можно было бы подумать, что больше нет сомнений относительно сложной природы *c*, и все-таки я осмелюсь утверждать, что *c* — простая фонема, и вот по каким основаниям.

Фонетика всегда относилась с пренебрежением к психологии, по крайней мере на практике. Она всегда рассматривала звуки и артикуляции сами по себе, что является делом физики и физиологии; но, как этому учит уже в течение 30 лет Бодуэн

де Куртене в своих статьях и курсах,<sup>1</sup> звуки и артикуляции языка не существуют только как звуки и артикуляции; чтобы образовать язык, они должны быть узнаваемы, по крайней мере говорящим; следовательно, они получают реальное лингвисти-

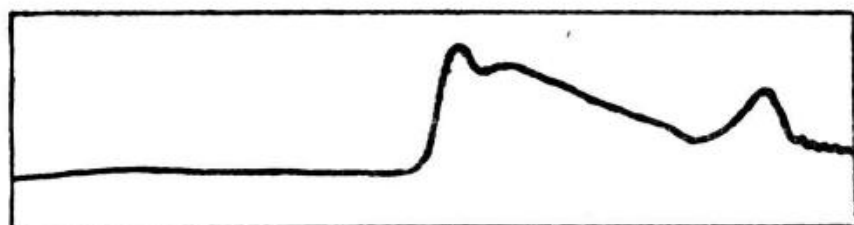


Рис. 1. *tsa*.

ческое существование только как психические явления. Разумеется, это только *одно из* условий существования языка, но первое и наиболее важное для фонетики: *th* (англ.), услышанное

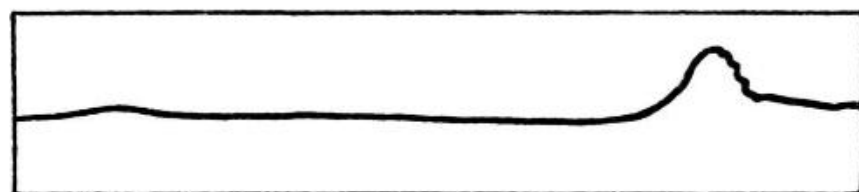


Рис. 2. *ca*.

внимательным русским впервые, не составляет для него звука *языка (фонемы)*, тогда как *s* воспринимается им как таковое и осознается как «наше русское *s*». Ясно также, что вообще узна-

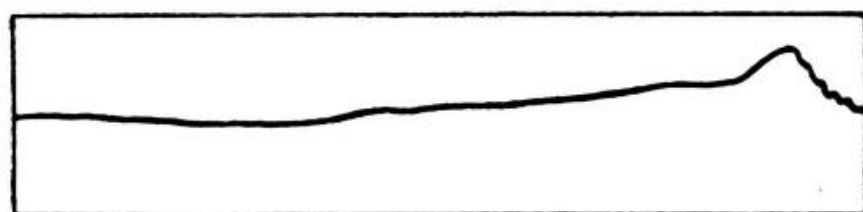


Рис. 3. *csa*.

ются и звуки, и артикуляции (внутренняя речь, движения артикулирующих органов у некоторых лиц, слушающих что-нибудь), хотя эти последние узнаются гораздо хуже в наибольшем количестве случаев. У глухонемых именно артикуляционные и некоторые зрительные образы составляют язык; в то же время можно было бы представить себе существо, лишенное артикулирующих органов, но которое при этом понимало бы звуко-

<sup>1</sup> Написанных в большинстве своем по-польски или по-русски (см., однако, „Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen“, Strassburg, 1895).

вой язык и для которого существовали бы лишь звуковые образы.

Во всяком случае, любая другая точка зрения, отличная от изложенной, совершенно исключается, потому что иначе было бы необъяснимо, как можно было бы дать себя понять или даже повторить фразу. Отсюда следует, что фонетика, поскольку она хочет быть чем-то большим, чем физиология или акустика, имеет объектом психические явления, и единицы, которыми она занимается — психические единицы — *фонемы*, а не просто звуки. Следовательно, эти единицы должны быть определены как таковые, т. е. психически, что, впрочем, всегда бессознательно и делали. Можно напомнить, например, так называемые смычные фонемы, которые с акустической точки зрения не представляют собой простых единиц, но которые мы тем не менее рассматриваем как простые фонемы. Я должен признаться, что дать определение фонемы дело довольно трудное, но к счастью, мне не нужно сейчас этим заниматься. Достаточно указать, что один из элементов этого определения, по крайней мере для некоторых языков (заметим, что это определение может изменяться от языка к языку), состоит в возможности для данной фонемы быть продолженной без потери ее качества.

Итак, если *c* не что иное, как сочетание двух фонем, то каждый из двух его элементов мог бы быть продолжен без изменения общего характера звучания. Действительно, первый элемент может быть продолжен без труда, как, например, в слове *молится*, упомянутом выше, и результат воспринимается как  $\bar{c}$ ; но если попытаться продолжить второй элемент, неизбежно получается некое звучание, воспринимаемое русскими как группа *cs*<sup>1</sup> (см. кривые выше). Отсюда следует, что поскольку *s* как второй элемент *c* не может быть продолжен, он не имеет самостоятельного существования, и, следовательно, *c* должен рассматриваться как простая фонема.

Это подтверждается еще одним обстоятельством. Как это следует из деления на слоги русских слов *рабский* (= *ráp/sk'ŷj*), *клякса* (= *kl'ák/sǎ*), в группе *ts* согласные входят в разные слоги; это происходит в словах *отсыпка* (= *ät/sýp/kǎ*), *отсюда* (= *ät/s'ú/dǎ*) и т. д., но *s*, воспринимаемое как простая фонема, всегда относится целиком или к предшествующему, или к последующему слогу, как *детский* (= *d'éc/k'ŷj*), *лица* (= *l'í/cǎ*).

Мне остается заметить только, что русский, знающий долгие *s*, не знает *s* удвоенных (геминированных): слово *отца* воспринимается как *ät/cǎ*, а не как *ǎs/cǎ*.<sup>2</sup> Любопытно заметить,

<sup>1</sup> Может быть, невозможно найти в русском пример сочетания *cs*, за исключением особых случаев, но есть примеры для *čš*: *лучше* (= *lúč/šě*). Впрочем, это не имеет никакого значения для данного вопроса.

<sup>2</sup> Разумеется, причина этого в этимологии (*отец*), а не в написании, потому что написание не мешает воспринимать *молится* как *mó/l'ŷ/cǎ*.

что итальянцы воспринимают то же (или почти то же) произношение как *s* удвоенное (геминированное), например в *prezzo*. Это еще раз показывает необходимость психологической точки зрения в самой фонетике.

4. Из всего изложенного можно извлечь небольшое практическое предложение, касающееся транскрипции: поскольку мы занимаемся речью, а не чистой физиологией, лучше сохранить обычные обозначения *s* и *š*, чем менять их на *ts* и *tš*, и, может быть, будет лучше последовать примеру Бодуэна де Куртене и обозначать *dz* русским знаком *з*, придавая ему, однако, не то значение, которое он имеет в русском, и, следовательно, *dž* обозначать как *ж*. Это будет просто, последовательно и согласно с психологической реальностью.

---

## СУБЪЕКТИВНЫЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД В ФОНЕТИКЕ

(Известия отд. русского языка и словесности Импер. акад. наук, т. XIV,  
кн. 4, 1909)

I. Значение и роль каждого из двух методов исследования, употребляемых в фонетике, можно себе хорошо уяснить из рассмотрения самого понятия фонетики как науки и ее отношения к смежным наукам. Ходячее определение фонетики говорит, что это есть *физиология* звуков человеческой речи. Так или приблизительно так еще и до сих пор называются некоторые книги, трактующие этот предмет. И что любопытно, один из классических учебников фонетики носил в своем 1-м издании название „Grundzüge der Lautphysiologie“. Однако в последующих изданиях автор учебника Сиверс счел нужным переменить заглавие и назвал его „Grundzüge der Phonetik“. Очевидно, сознательно или бессознательно здесь действовало желание отмежеваться от физиологии, куда, казалось бы, с несомненностью относится исследование всяких функций человеческого организма, а следовательно, и речи. С другой стороны, не менее очевидной является связь фонетики с акустикой, которая ведь занимается исследованием звуков, а мы привыкли слышать, что „речь человеческая состоит из звуков“.

И тем не менее фонетика имеет претензию на самостоятельное существование. Не преувеличены ли эти претензии? Жизнь уже доказала, что нет: обширная литература, существование специальных преподавателей в высших учебных заведениях, наконец — и это самое главное — практическое применение в разных сферах вполне оправдывает их, и здесь мне остается лишь попытаться обосновать эти претензии теоретически.

Остановимся для этого несколько на вопросе о фонетических единицах. Для непосредственного чутья он не представляет особенных трудностей: дети, прежде чем учиться читать, упражняются в делении слов на простейшие единицы, которые в просторечии, благодаря смешению понятий, называются буквами, а в науке могли бы называться фонемами. Так, например, сочетание *ata* разлагается нашим чутьем на *a*, *t*, *a*, так как



мы отличаем *ata* от *uta*, *ata* от *ada*, *ata* от *atu* и т. д. Однако если взглянуть на звукосочетание *ata* с акустической точки зрения, то дело представляется совершенно в ином виде: так как акустика рассматривает звуки как движение частиц воздуха, то звуки сочетания *ata* могут быть выражены графической линией, которая будет состоять из *двух* отрезков волнообразной кривой, сходных, хотя и не вполне тождественных друг с другом, соединенных некоторой прямой, обозначающей отсутствие звука, так что непредубежденный человек сможет найти здесь всего лишь два элемента, отделенных друг от друга некоторым промежутком времени, а не три, как это мы делаем в фонетике и вообще в языке.

Другим не менее ярким случаем, показывающим, что фонетические единицы не всегда совпадают с единицами акустическими и физиологическими, является старинный спор о так называемых „аффрикатах“, есть ли это простые согласные или они состоят из двух звуков, например: *c* (*ц*) из *t + s* (*m + c*), *č* (*ч*) из *t + š* (*m + ш*) и т. д. Самая возможность такого спора указывает на существование двух точек зрения. И действительно, физиологически присутствие двух элементов в аффрикатах несомненно, однако с языковой, *фонетической* точки зрения говорящих на данном языке людей *c* (*ц*), *č* (*ч*) и т. д. также несомненно являются простыми согласными, так как спирантный элемент в них не может быть протянут (подробнее об этом см. мою статью в *M. S. L.*, XV, стр. 237).

Таким образом, понятие фонетической единицы не всегда покрывает понятия единиц акустической или физиологической, из чего следует, что фонетические единицы не могут быть отнесены ни к физиологическим, ни к физическим величинам, а являются результатом нашей психической деятельности, иначе говоря: раз мы говорим об *a*, *e*, *i*, *p*, *t* и т. д., мы выходим из мира физического и физиологического и входим в область психики, где и происходит, так сказать, синтез данных акустических и физиологических и приспособление их для целей языкового общения. Этим определяется и самостоятельное положение фонетики как науки: она занимается исследованием *звуковых представлений* речи в первую голову, а затем уже и тех акустических и физиологических процессов, под влиянием которых эти представления возникают.

Из этого определения вытекает сама собой и роль как субъективного, так и объективного метода в фонетике. Строго говоря, единственным *фонетическим* методом является метод субъективный, так как мы всегда должны обращаться к сознанию говорящего на данном языке индивида, раз мы желаем узнать, какие фонетические различия он употребляет для целей языкового общения, и другого источника, кроме его сознания, у нас вовсе не имеется — потому-то для лингвиста

так драгоценны все, хотя бы самые наивные заявления и наблюдения туземцев — они в большинстве случаев, при надлежащей их интерпретации, имеют гораздо больше цены, чем наблюдения ученых исследователей, принадлежащих к другой языковой группе.

Но, с другой стороны, то, что не находится непосредственно в сфере сознания, то, что происходит в мире физиологическом и физическом, имеет тоже громадный интерес для лингвиста, так как может стать со временем достоянием языкового мышления, являясь, таким образом, в настоящее время зародышем будущего. И это объективно существующее должно быть исследуемо объективным методом, т. е. наблюдаемо посредством разных регистрирующих приборов, а где можно, следует применять и экспериментирование. Таково принципиальное разграничение областей двух фонетических методов.

II. Переходя к более частному их рассмотрению, нельзя достаточно сильно подчеркнуть важность субъективного метода в лингвистическом отношении, так как отличие мыслимого от существующего лишь в исполнении является необходимой основой для языковых явлений.

Для иллюстрации этого положения можно привести хотя бы наиболее близко нам, русским, стоящее различие двух оттенков *e* в *бел* и *бель*. Различие это акустически так сильно действует на слух, например, французов, что они различают здесь два звука (*è* и *é*), но для сознания нормального русского человека это различие, являясь функцией последующего согласного и не будучи ассоциировано непосредственно с каким-либо оттенком значения, не существует вовсе. Что это так, в этом я неоднократно убеждался на моих слушателях и слушательницах, многие из которых долго не могли услышать это различие и должны были верить мне на слово. А что здесь графика не причем, в этом не может быть сомнения, если сопоставить русское произношение с итальянским, где различается, например, *pesca* 'рыбная ловля' и *pesca* 'персик', несмотря на то, что различие между обоими *e* гораздо меньше русского, так что обыкновенное русское ухо его не слышит даже при внимательном вслушивании. Другой пример: мы все слышим в английском *place* 'место', *say* 'говорит', *no* 'нет', *know* 'знать' дифтонги; однако для того, чтобы убедить в этом англичан, нужно было перевертывать валик фонографа, причем слышалось нечто вроде *sjelp*, цоп. Нечто аналогичное встречается также и в лужицких говорах. Еще один пример из лингвистической литературы последнего времени: проф. А. И. Томсон, обладающий удивительным слухом, который, превращая его ухо в тончайший регистрирующий аппарат, позволяет ему делать тонкие и весьма ценные наблюдения, говорит нам, отрицаясь, так сказать, от собственного „я“, что наше *y* (*ы*) — дифтонг. И он прав: *y* — дифтонг, но настолько же, насколько

и *a* в слове *ад*,<sup>1</sup> которое, как показывают фонаутографические записи, значительно изменяется по качеству, особенно к концу. И тем не менее и *a*, и *y* (*ы*) для нашего сознания не дифтонги.

Примеров вообще можно привести бесчисленное множество, но и приведенного достаточно, чтобы предостеречь людей, занимающихся записыванием фонетических текстов, от тех ошибок, в которые они впадают, пренебрегая основными требованиями субъективного метода, являющегося лингвистическим по преимуществу: *регистрировать факты сознания говорящего на данном языке человека*. При несоблюдении этого требования их записи лишены самого главного — души. Это *metemento* в равной мере относится как к записывающим посредством разных регистрирующих приборов, так и к пользующимся в качестве такового собственным ухом. Разница между первыми и вторыми сводится к тому, что первые более или менее верно воспроизводят объективную сторону человеческой речи, а вторые и эту сторону искажают, преломляя слышанное в призме собственного сознания, так как ведь даже изошренное ухо слышит не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать, применительно к ассоциациям собственного мышления. Все это ведет к такому „импрессионизму“, по меткому выражению одного лингвиста, в записях, что трудно зачастую на них основывать какие-либо заключения. Это уже давно начинает замечаться исследователями, хотя мало кто высказывается вполне определенно по этому поводу, и, насколько мне известно, один Пасси со всей определенностью выставляет требование, чтобы в фонетические транскрипции вносилось лишь то, что различает „*instinct linguistique*“ данной языковой группы.

III. Перейдем теперь к видоизменениям субъективного метода. Дело в том, что мы можем, напрягая внимание, увеличивать поле нашего сознания или, вернее, вводить в него те объекты, которые нормально в нем не существуют, и, таким образом, мы можем, изошряя наш слух и мускульное чувство, наблюдать то, что нормально существует лишь под порогом нашего сознания — мы можем переводить объективно существующее в область сознаваемого, субъективно существующего. Так, например, путем небольшого упражнения мы можем довести себя до того, что будем слышать разницу между двумя *e* в *бел* и *бель* и, что гораздо труднее, чувствовать разницу в их артикуляции. И таким путем, путем осознания нормально несознаваемого в *собственной* речи и были сделаны главнейшие завоевания в области фонетики. Таким образом, субъективный метод с успехом вторгается в ту область, которая принципиально отведена объективному методу. Но, во-первых, не все способны с успехом применять этот метод, во

---

<sup>1</sup> Готов допустить, что в известных положениях и у известных индивидов даже больше.

всяком случае, для этого нужна многолетняя *специальная тренировка*, так что глубоко заблуждаются те, которые полагают, что достаточно прочесть пару учебников, чтобы стать фонетиком и с успехом наблюдать разные говоры, а во-вторых, все-таки далеко не все объективно существующее доступно исследованию этим методом. Не нужно быть, конечно, большим мудрецом, чтобы открыть разницу между двумя *e* в словах *бел* и *бель*, между ударенным и неударенным гласным в слове *папа*, но уже труднее определить разницу между двумя *n* в этом последнем слове, еще труднее раскрыть тонкие различия в длительности звуков в разных положениях, например, а в *бáса*, *бáка* или изменения в координации разных элементов в зависимости от ударения, например, в *пáпа* и *попá*. Говоря вообще, малодоступно, хотя бы и специалисту-фонетику, наблюдение внутреннего механизма и фонетических последствий некоторых явлений, которые нам непосредственно даны в своих результатах, например механизм ударения, слогоделения и т. д. — вещи, до сих пор остающиеся спорными в науке. Все это область, где находит и должен находить себе применение объективный метод исследования.

Одним из разительных примеров, могущих иллюстрировать значение объективного метода, могут послужить два экспериментально-фонетических исследования: Roudet. *Dépense d'air dans la parole* („La parole“, 1900, p. 202), E. A. Meyer. *Englische Lautdauer* (1903). Первый из них констатировал, что при прочих равных условиях при производстве более узких гласных, например *i*, *u*, трата воздуха больше, чем при производстве более широких, например *a*. Э. Мейер констатировал, что в английском при прочих равных условиях более узкие гласные, например *i*, *u*, короче более широких, например *a*. Сопоставление этих двух фактов, вскрытых лишь с помощью объективного метода, бросает сразу яркий свет на целую массу явлений: оказывается, что в языке важна не длительность фонетических элементов, а количество расходуемой на них энергии, что объясняет нам, с одной стороны, сокращение узких гласных, могущее вести в некоторых случаях к их полному исчезновению вне всякой связи с ударением, а с другой стороны, замену различия по количеству различием по качеству (ср. так называемый переход  $\bar{e}$  в *i*). Подробный пересмотр всех относящихся сюда фактов дает Мейер в своей статье в *M. S. L.*, XV, стр. 265.

IV. Рассмотрим еще и другое видоизменение субъективного метода. Ведь можно и не ограничиваться собственной персоной для фонетических наблюдений, а распространить его и на других. При этом поступают так:<sup>1</sup> стараются слухом уловить дан-

---

<sup>1</sup> См. Jespersen. *Phonetische Grundfragen*, 1906, § 141, стр. 140.

ное произношение и воспроизвести его удовлетворительно для туземца (обыкновенно прибавляют теперь „для компетентного туземца“, так как, не говоря уже о собственном контроле, контроль фонетически необразованного туземца самими сторонниками подобного метода признается недостаточным). Усвоив себе таким образом чужое произношение, с ним поступают, как со своим собственным, так что все сказанное в предыдущем параграфе относится сюда. Нужно только прибавить, что усвоение чужого произношения представляет такие подводные камни ввиду субъективности нашего уха, слышащего то, к чему привыкло и чего желает, что к такому методу нужно относиться с крайней осторожностью и во всяком случае всегда стараться проверять его данные данными объективного метода.

Чтобы иллюстрировать, к каким крупным ошибкам может привести этот метод даже таких первоклассных фонетиков, как Суит, приведу следующие два примера. Как известно, с легкой руки Суита все западные фонетики говорят о „гutturальном“, заднеязычном *ɪ*, приводя в качестве примера русское *л*. В превосходной статье, оставшейся, к сожалению, незамеченной на Западе, С. К. Булич (Р. Ф. И., XXIII, стр. 181) доказал всю несостоятельность подобного утверждения. Я располагаю экспериментальными данными из русского, польского, лужицкого и моравского диалектов, которые объективно подтверждают слова С. К. Булича и красноречиво говорят, что должны были делать западные фонетики для того, чтобы избежать грубой ошибки. Другой пример: Суит в прежние времена отождествлял русское *у* (*ɯ*) с кимрским *и*, в последнем же издании своей таблицы он их до некоторой степени различает, говоря, что кимрская артикуляция несколько более впереди, чем русская. Я имел случай изучать кимрское произношение и мог прежде всего констатировать, что кимрское *и* мало похоже на русское *ы* на слух. Когда же я сравнил отпечатки обеих артикуляций на искусственном нёбе, то оказалось, что русское *у* (*ɯ*) есть действительно high-mixed-vowel, как говорит Суит, кимрское же *и* есть одновременное соединение front-, mixed-, и back-артикуляций.

Эти два примера должны, мне кажется, навести нас на некоторые выводы о значении фонетических наблюдений над чужим языком, не подкрепленных объективными данными и сделанных не такими выдающимися фонетиками, как Суит, не говоря уже о записях, сделанных без указанных выше предосторожностей на основании лишь одних слуховых впечатлений, когда высшим критерием служит „так слышится“.

То же в еще большей мере относится и к записям с фонографа, хотя, конечно, я отнюдь не отрицаю того значения, которое имеют и могут иметь фонограф и граммофон в фонетике. Но дело в том, что как раз фонограф является лучшим доказательством субъективности нашего слуха: оказывается,

что мы дополняем сами, и, конечно, соответственно *собственными* языковым привычкам, слышимое в фонографе, так что нам кажется великолепно записанным то, что мы узнаем и понимаем; но если записать бессмысленные слова, то окажется, что фонограф вовсе не такой безукоризненный инструмент и что мы зачастую не можем различать им записанное (особенно в области согласных). Кроме того, фонограф запечатлевает одно случайное произношение, а было бы грубым заблуждением думать, что наша речь всегда одинакова: произношение слов, а тем более фраз, допускает громадные колебания, и фонетику необходимо прежде всего устанавливать типическое произношение, что возможно только в непосредственном общении с людьми. Наконец, невозможность взглянуть на губы, а при произношении отдельных звуков и на язык говорящего, еще больше уменьшает ценность подобного метода. Фонографические записи могут являться хорошим подспорьем лишь для лиц, изучавших данный говор на месте, да кроме того, с успехом служить педагогическим целям при наличности учителя для постановки отдельных звуков и контроля.

---

## ЗАМЕТКИ ПО ОБЩЕЙ ФОНЕТИКЕ

(Mémoires de la Société de linguistique de Paris, XVI, 1910. Напечатано на французском языке под названием «Notes de phonétique générale»)

### I. О ТВЕРДОМ *l*

Существующие описания твердого *l*, которое обычно обозначают как *l* и которое известно главным образом в польском и в русском языках, довольно сильно расходятся между собой, но они совпадают в том, что определяют этот звук как *велярный*. Некоторые авторы утверждают, что основным в артикуляции звука является известное сужение речевого канала в задней части ротовой полости, — ср. С т о р м (Storm), *Englische Philologie*, изд. 2-е, 1902, стр. 65. Другие — и этого мнения придерживается большинство лингвистов — утверждают, что посередине образуется велярная смычка, а воздух проходит по бокам, — ср. С у и т (Sweet). *Primer of Phonetics*, изд. 3-е, 1906, стр. 41; Й е с п е р с е н (Jespersen). *Lehrbuch der Phonetik*, 1904, стр. 131; П а с с и (Passy). *Petite phonétique comparée des principales langues européennes*, 1906, стр. 76 и т. д. Третьи, наконец, отмечают, что кончик языка может касаться зубов, но что это необязательно, — ср. Й е с п е р с е н, цит. соч., Ф ё л ь к е л ь (Voelkel). *Sur le changement de l'L en U.*, 1888, стр. 46.

Эти описания неправильны, как можно убедиться из прилагаемых ниже рис. 4, 5, 6 и 7.

Из рисунков видно, что основное в артикуляции твердого *l* заключается как раз в соприкосновении передней части языка с верхними зубами или, соответственно, с альвеолами и в *опускании* всего тела, а особенно средней части языка, который оставляет проход воздуху с двух или с одной стороны. Все это заметил уже Булич, который в своей превосходной статье (*Русский филологический вестник*, XXIII, стр. 81—85) определяет твердое *l* как звук «плавный, боковой переднеязычный дорсально-постдентальной артикуляции с сильно вогнутой и опущенной задней частью языка» (стр. 85).

О. Брок правильно отметил, что передняя часть языка соприкасается с твердым нёбом, но он полагает при этом, что задняя часть языка более или менее приподнята, см. «Описание одного

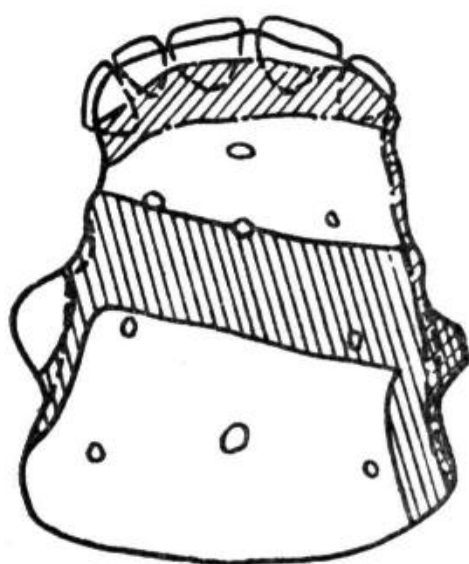


Рис. 4. Лужицкий: пространство между пунктирными линиями *а*, между сплошными линиями *б*.

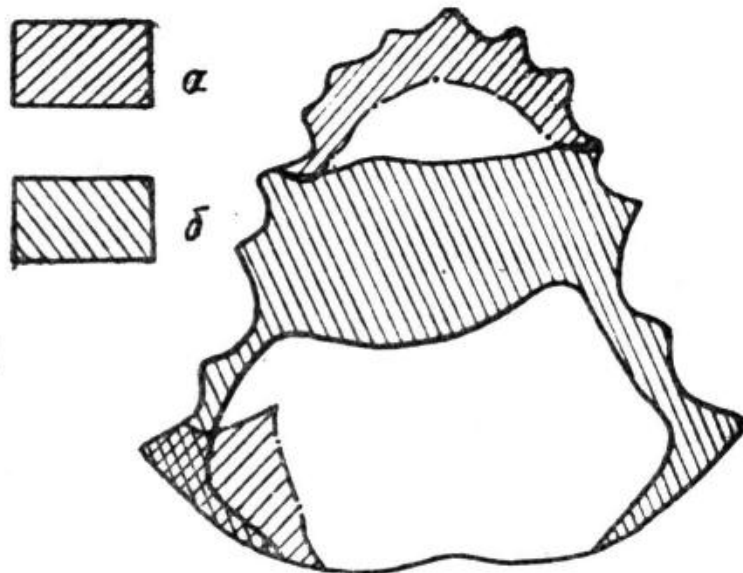


Рис. 5. Моравский: пространство между зубами и пунктиром — *а*; между сплошными линиями — *б*.

То же мнение по поводу образования твердого *л* было высказано Сиверсом в первом издании его «Grundzüge der Lautphy-



Рис. 6. Польский: пространство между границей нёба и пунктиром *а* — *б*; между двумя сплошными линиями — *б*.

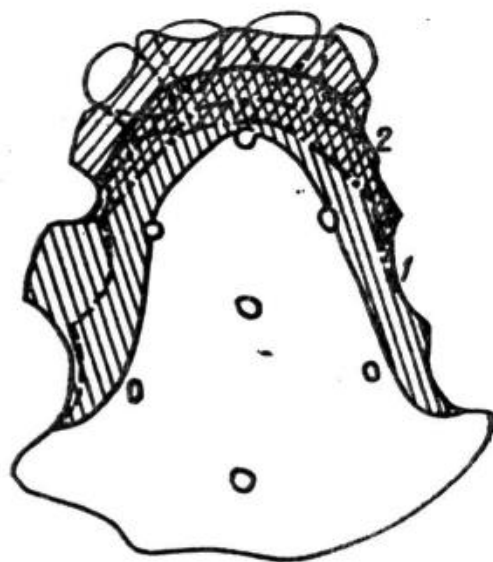


Рис. 7. Русский: пространство между границей нёба и пунктиром *а* — *б*; между границей нёба и пунктиром *б* — *а*; между двумя сплошными линиями — *б*.

Примечание редакции. На рис. 4—7 штриховкой *а* показано место артикуляции твердых *л*, штриховкой *б* — место артикуляции мягких *л*. На рис. 4—11 пунктиром --- отмечена граница зубов или их место; пунктиром - - - - и сплошной линией — граница соприкосновения языка с нёбом.



siologie», (1876, стр. 55), но затем он изменил свой взгляд. Я даю в качестве примеров твердое *l* основных славянских языков, сохранивших этот звук. Из неславянских языков я могу назвать только литовский, который, по свидетельству Готье (Gauthiot) («Le parler de Buividze», 1903, р. 25),<sup>1</sup> обладает твердым *l*, артикулируемым описанным образом.

На слух твердое *l*, сравнительно с обычным *l*, определяется как звук, почти лишенный шума согласного, очень сонактный, с низким тембром, который зависит от увеличения объема резонатора, образованного языком и нёбом.

Я не думаю, чтобы было возможно образовать тот же звук другим способом; по крайней мере мне никогда не удавалось этого добиться другим путем, и я никогда не наблюдал иной артикуляции у других. Во всяком случае, если попытаться не делать смычки передней частью языка, получается звук, совершенно отличный от твердого *l* и заметно более сонантный. Это действительно происходит в произношении некоторых лиц, которые не могут произнести твердое *l* — что кажется смешным окружающим — и даже в некоторых диалектных областях, как, например, в Западной Галиции. Этот новый звук воспринимается обычно как неслогообразующее *и*. Тем не менее, в Западной Галиции звук, возникший из *l*, отличается, по свидетельству Розвадовского (Rozwadowski, Szkieł wupowy polskiej, Mategualy i ргасе, I, стр. 109 и сл.),<sup>2</sup> от *ц*, хотя и является тоже неслоговым гласным.

Один русский с недостатками произношения, которого я имел возможность наблюдать, заменял твердое *l* неслоговым гласным, очень близким к *ц*, в котором едва можно было заметить что-то напоминающее твердое *l*. При более внимательном наблюдении я убедился, что хотя смычка не осуществлялась, кончик языка тем не менее поднимался к верхним зубам, так что возникал очень слабый шум согласного, напоминающий твердое *l*.

Твердое русское *l* — единственное, о котором у меня есть данные в этом отношении — изменяется в зависимости от фонетических условий. На рис. 7 видно, что область смычки для *l* в конце слога меньше, чем для *l* в начале слога, т. е. при *l* в конце слога смычка слабее, следовательно, проход для воздуха

<sup>1</sup> Отмечали *l* в голландском, португальском и шотландском. Но, по описаниям Дийкстра (Dijkstra), Holländisch, 1903, стр. 7, и Вианна (Vianna), Portugais, 1903, стр. 18, эти *l* не являются велярными. Дийкстра обозначает это *l* обычным знаком *l*, и следует полагать, что в конце слога его можно сравнить с английским *l* в том же положении. Вианна же определенно говорит, что португальское *l*, встречающееся только после гласных, артикулируется «частью языка, находящейся ближе к кончику», чем при *l* (?). Для этого он и предлагает новый знак — *l*, перечеркнутое, сверху вниз. Что касается шотландского *l*, то мне не удалось составить о нем мнение.

<sup>2</sup> Интерпретация этого места работы Розвадовского, которую дал Вондрак (Vondrac) в своей «Сравнительной грамматике» («Vergleichende Grammatik», I, S. 291), является, очевидно, результатом недоразумения.

больше, и шум согласного ослаблен, короче — оно более сонантно. Это новое фонетическое чередование (ср. Baudouin de Courtenay, «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen», 1895) в белорусских диалектах уже привело к чередованию: *l* в начале слога || *ц* в конце слога (*l* — || — *ц*).

Наконец, надо отметить, что в английском, чешском и латышском языках в тех же фонетических условиях наблюдается чередование обычного среднего *l* с несколько более низким по тембру и более сонантным *l*. Эта последняя разновидность *l* очень близка к русскому *л*, которому ее едва ли можно противопоставлять, как это делает Йесперсен («Lehrbuch der Phonetik», стр. 131),

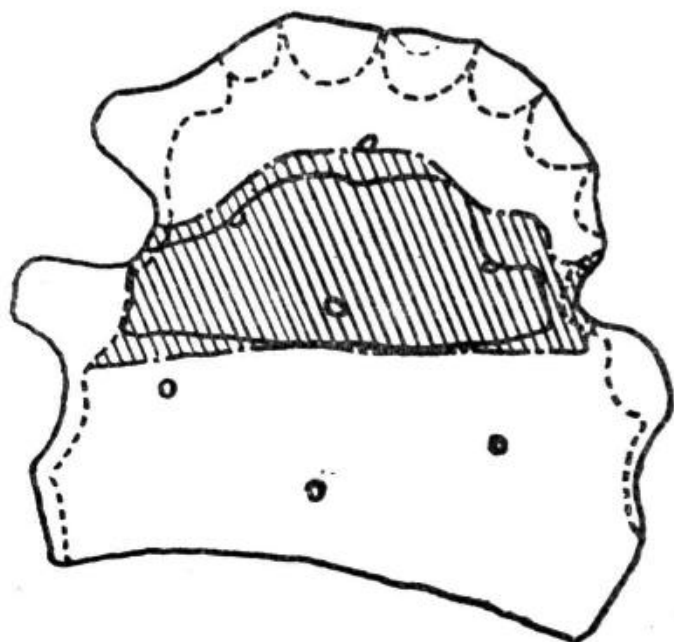


Рис. 8. Чешский: пространство между двумя пунктирными линиями — *la*; между сплошными линиями — *al*.

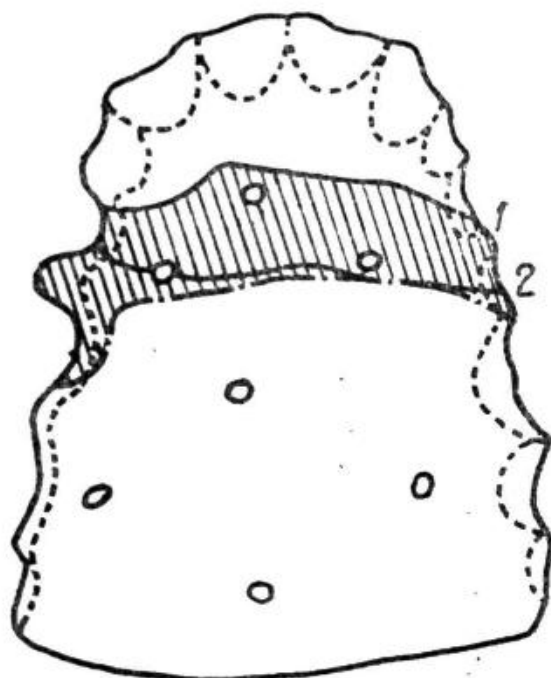


Рис. 9. Латышский: пространство между сплошной линией *l* и пунктиром — *la*; между двумя сплошными линиями — *al*.

ибо оба они «*hohle l*», и различие между ними состоит лишь в степени сонантности: второе, обладая меньшим шумом согласного, является еще несколько более низким и более сонантным. Это хорошо известно в отношении английского; для чешского и латышского я могу сослаться на точные свидетельства (см. рис. 8 и 9).

Таковы факты. Если припомнить теперь, что, по исследованиям Мейе (Meillet) («Mémoires de la Société de linguistique de Paris», XIII, стр. 237), *l* развивается или в конце слога, или перед гласными типа *a*, *o*, *u* (*e*), можно будет легко воссоздать все фонетическое развитие. Рассмотрим сначала первый случай.

Первый этап представлен на рис. 8 и 9, дающих разновидности обычного *l* в чешском и латышском. Этот этап легко понять, так как всякая артикуляция в конце слога ослаблена, как это видно из рис. 10, где область артикуляции для *at* меньше, чем

для *ta*. Следующий этап представляет русское и др. *ɫ*, где видна уже бóльшая степень вокализации. Вокализация становится очень заметной в той разновидности русского *ɫ*, которая встречается в конце слога (см. рис. 7) и приводит к образованию неслогообразующего гласного типа *u* (в Белоруссии). Таким образом, развитие  $-l > -ɫ$  не что иное, как этап вокализации *l* на конце слога, и развитие  $-l > -ɫ > -u$  совершенно параллельно эволюции носовых согласных в тех же условиях (развитие носовых гласных) и развитию *r* на конце слога, например, в южно-английском и в некоторых немецких диалектах («aba», «Bali r» берлинцев в элементарной транскрипции).

Остается один факт, который требует объяснения, а именно: губное качество гласного, появляющегося в результате развития. Кажется, что эта замена происходит на акустических путях. Когда смычка языка с нёбом прекращается, резонатор образуется всей ротовой полостью с *большим отверстием*, в то время как прежде был только небольшой проход между языком и боковыми зубами, так что тембр звука теперь должен был бы быть очень высоким, а следовательно, очень непохожим на низкий тембр *ɫ*. Те, кто не делают смычки языком, невольно в то же время сближают губы, чтобы понизить тембр звука и сохранить его на высоте *ɫ*, так как иначе ухо, очень чувствительное к изменениям тембра, не допустило бы замены. Положение языка не играет большой роли при этих разновидностях неслогового *u*, которые очень близки к *o*<sup>1</sup> и образованы при почти нейтральном положении языка.

Развитие *ɫ* перед гласными типа *a, o, u, (e)* объясняется довольно легко как адаптация. На первый взгляд, появление *ɫ* перед закрытым гласным *u* кажется несколько странным; но оно легко объясняется, если вспомнить, что для образования этого гласного язык оттягивается назад, оставляя свободным пространство, образующее резонатор для *ɫ*. Что же касается гласного *e*, то судьба предшествующего *l* зависит, очевидно, от степени открытости гласного: перед *e* закрытым *l* сохраняется без изменения; перед *e* открытым *l* может превратиться в *ɫ*.

## II. СЛАВЯНСКОЕ *у* И УЭЛЬСКОЕ *u*

Два года тому назад я имел случай изучать уэльское произношение с м-ль В., которая любезно согласилась помочь мне в моих исследованиях, и мы оба были очень удивлены, когда обнаружили, что уэльское *u* вовсе не совпадает с русским *у* (*yl*), как мы это предполагали на основании учебников фонетики. Звуки эти действительно немного похожи друг на друга, но их затруднительно отождествить, по крайней мере носителям языка. Прила-

<sup>1</sup> Ср. обозначение гласного, возникшего из *ɫ*, с помощью *o* в сербском. В русском нельзя было бы употребить тот же знак, потому что русское *o* — очень открытый звук.

гаемые здесь рис. 10 и 11 показывают различие этих звуков в артикуляторном отношении.

В то время как русское *у* (*ы*) является смешанным («mixed») гласным в понимании Суита, уэльское *и* является смешанным гласным в собственном смысле слова, т. е. резонатор образуется по всей длине языка и имеет форму длинной трубки. Чтобы удлинить эту трубку, мускулы дуг нёбной занавески напрягаются

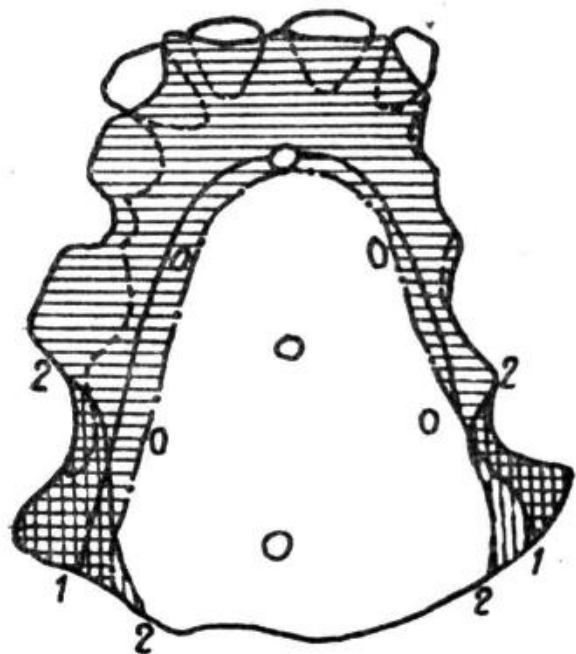


Рис. 10. Русский: пространство между границей нёба и пунктирной линией — *ta*; между границей нёба и сплошной линией 1—*at*; между границей нёба и сплошными линиями 2—*у*. Горизонтальной штриховкой показано место артикуляции согласного *t*, вертикальной — место артикуляции гласного *ы*. (Прим. ред.).

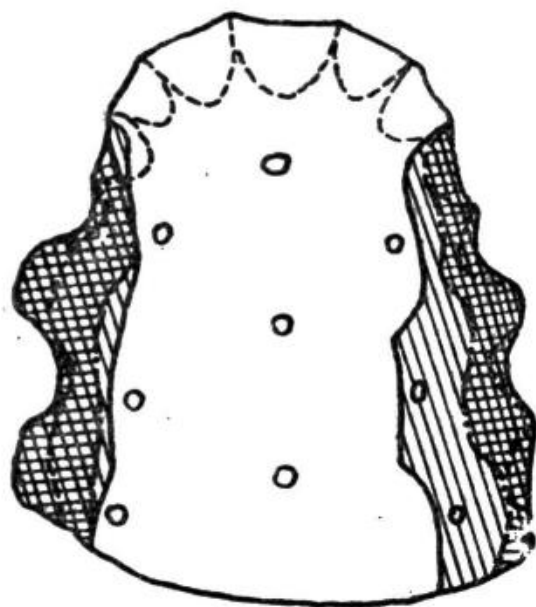


Рис. 11. Уэльский: пространство между границей нёба и пунктиром — *и*; между границей нёба и сплошными линиями *byw* 'жить' (*biu* в фонетической транскрипции). Горизонтальной штриховкой показано место артикуляции уэльского *и*, косым штрихом — артикуляция *byw*. (Прим. ред.).

и «выпячиваются», по выражению м-ль В. Таким образом, артикуляция уэльского *и* содержит одновременно артикуляции *i* и очень глубокого *и*.<sup>1</sup> Возможно, что Бэлл ввел свой термин «mixed» («смешанный»), основываясь на правильном определении этого уэльского звука. Во всяком случае, описания этого звука, данные Ллойдом (Lloyd) в его «Speech Sounds» в «Phonetische Studien», IV, стр. 187, V, стр. 2 и других местах, близки к истине. Кроме уэльского, я, кажется, слышал описанный звук в саксонском, в Лейпциге, перед увулярным *r*, в таких словах, как *irgend*, *Wirth* и т. д. Я принимал его сначала за *ü* (немецкое), но, кажется, губы не играют здесь никакой роли. Замечание Ф. Франке (F. Franke) в его статье «Die Umgangssprache der Nieder-Lau-

<sup>1</sup> См. рис. 11, где сравнивается артикуляция описываемого звука с артикуляцией уэльского дифтонга *i* (*и* в транскрипции).

sitz» в «Phonetische Studien», II, стр. 31, по-видимому, согласуется с моими наблюдениями. Он отмечает, что *i* (транскрипция Maître phonétique) может образовываться двумя способами, один из которых, отмечаемый перед увулярным *r*, например в слове *irgend* в его диалекте, совпадает с моим описанием уэльского звука. Как бы то ни было, уэльское *i* и русское *y* (*ы*) совершенно различны, особенно с точки зрения артикуляции, и описания Суита (ср. «Primer of Phonetics», изд. 3-е, 1905, стр. 24) должны быть исправлены.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Указания Самюэля Эванса (Samuel Evans). «Studies in welch phonology», 1909, стр. 6, слишком общи, тем не менее он в своем описании, по-видимому, не расходится с Суитом.

---

## РУССКИЕ ГЛАСНЫЕ В КАЧЕСТВЕННОМ И КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ

(СПб., 1912)

### О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЯХ (стр. 1—19)

§ 1. Отправным пунктом моей работы являются идеи И. А. Бодуэна де Куртене, высказывавшиеся и теперь высказываемые им в разных печатных трудах, но систематичнее всего изложенные в его «Próba teorji alternacyj fonetycznych». Kraków (1894) = «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. Ein Kapitel aus Psychophonetik». Strassburg (1895). Поэтому можно было бы, сославшись просто на эти книги, а равно и на прочие труды Бодуэна, приступить непосредственно к предмету работы. Однако, ввиду того, что эти идеи, по моим наблюдениям, до сих пор не стали всеобщим достоянием, а также ввиду того, что сам Бодуэн не все в своей теории развил с надлежащей полнотой, представляется вполне уместным подробно исследовать некоторые понятия, положенные в основание настоящего исследования, и, в частности, прежде всего остановиться на психологическом анализе того, что Бодуэн называет *фонемой*.

§ 2. Если мы будем наблюдать психические процессы при потоке слышимой речи, то результатом самого элементарного самонаблюдения и анализа будет констатирование того факта, что известные ряды сложных акустических представлений, воспринимаемые нами как нечто *единое*, могут вызывать в нас некоторые комплексы смысловых представлений и чувственных элементов, также объединенных в *одном* психическом акте: так, звуковые представления, символом которых являются написания *смеркается, светает, темно*, вызывают определенные, довольно сложные представления с известным чувственным тоном.<sup>1</sup>

Но здесь нужно заметить, что для возбуждения представлений, уже возникавших в нашем сознании, не требуется полного ряда соответственных ощущений и что, кроме того, эти последние

---

<sup>1</sup> Я нарочно выбрал такие примеры, которые избавляют меня от необходимости развивать мои взгляды на взаимоотношение слов и предложений, так как это чересчур отвлекло бы меня от непосредственной задачи моего исследования.

могут и не быть абсолютно тождественны возбуждаемым представлениям. Вполне достаточно лишь некоторого количества элементов, более или менее подобных прежде бывшим в сознании, для наступления процесса *ассимиляции* (см. W u n d t. Grundriss der Psychologie. 1905, S. 278), примером которого может служить, между прочим, неверное чтение слов или пропуск ошибок при корректуре. Основной чертой процесса ассимиляции, которая отличает его как одновременную ассоциацию (*Simultane Assoziation*) от последовательной ассоциации (*Sukzessive Assoziation*), является то, что полученные ощущения и результат ассимиляции не различаются сознанием как два отдельных по времени момента, иначе говоря, что мы не сознаем разницы между объективно данными ощущениями и результатом нашего восприятия, как в этом каждый мог убеждаться всякий раз, когда ему случалось неверно прочесть то или иное слово.

Следовательно, звуковые представления, соответствующие написаниям *смеркается, светает, темно* и т. д., могут возникать в нас и при произнесении довольно различных звуковых комплексов, причем различие между действительно произнесенным и нашими соответствующими слуховыми ощущениями, с одной стороны, и нашим восприятием, с другой стороны, сознанием нормально не воспринимается в силу только что указанной основной черты процесса ассимиляции; иначе говоря, в известных пределах мы вовсе не замечаем колебаний в произношении. Из этого следует, что нельзя себе представлять дело так, как будто разные произносительные формы одного и того же слова *непосредственно* ассоциированы со смысловыми представлениями. Такое понимание покоится на недостаточном анализе процесса восприятия, на неразличении одновременных и последовательных ассоциаций, т. е. на той «вульгарной психологии», критика которой и составляет главную заслугу Вундта перед языкознанием.

§ 3. Объективное положение вещей сводится к тому, что у людей, вполне владеющих данным языком, смысловые представления ассоциированы с некоторым общим звуковым представлением того или другого слова, со *звуковым словом-типом*, которому может соответствовать колеблющееся произношение, причем размах этих колебаний бывает очень значителен. О величине его можно составить себе приблизительное представление, если вспомнить, как велики бывают ошибки при чтении слов. Махимум колебаний определяется легкостью ассимиляции: когда ассимиляция, а следовательно, и понимание, являющееся целью языкового общения, затрудняется, то мы жалуемся на худое произношение, невнятность речи и т. п. В качестве примеров разберем возможные колебания гласных одного из вышеприведенных слов, хотя бы слова *смеркается*: гласный первого слога может колебаться от ясного [e] при отчеканивании до [ь] обыкновенного произношения и до нуля быстрого произношения,

когда [г] берет на себя слоговую функцию; а ударенного слога колеблется от [а] чистого при обыкновенном произношении до [л] быстрого темпа речи; слог *je* колеблется от [je] до [ь] и [ь̄] в разных темпах; а конечного слога, не говоря о бесчисленных возможных оттенках по тембру, может быть и звонким и глухим. . . Я не говорю уже о вариациях длительности, которые бесконечны, и оставляю в стороне вариации согласных, так как это потребовало бы экспериментальных данных и завело бы меня таким образом слишком далеко, но и приведенных примеров, полагаю, достаточно для подтверждения сказанного о значительности размаха колебаний в произношении одного и того же слова.

Тем не менее все эти колебания *нормально* нами не сознаются, оставаясь ниже порога сознания, и даже когда они достигают известного предела, то мы говорим, как было указано выше, лишь о «невнятном» произношении, а не об отклонении от нормы. Само собою разумеется, что, изоцряя свое самонаблюдение и, так сказать, дрессируя себя в этом направлении, можно наблюдать все эти оттенки произношения, и это даже относительно просто, если нам на них укажут. Насколько же, однако, трудно обратить на них внимание *впервые*, явствует из того, что «открытие» того или другого оттенка обыкновенно вменяется в особую заслугу. Сравнительно легко замечают *некоторые* оттенки иностранцы и дети, так как ни у тех, ни у других не создались еще звуковые слова-типы.

Качественно и количественно колебания произношения будут различаться от языка к языку, так как зависят от общего фонетического (а отчасти и морфологического и синтаксического) строя языка, иначе говоря, от языковых привычек представителей данной языковой группы (сумма этих привычек в области произносительной и называется артикуляционной базой: ср. Roudet. *Éléments de phonétique générale*, 1910, p. 37).

Этим, между прочим, объясняется то, что мы довольно легко замечаем иностранное произношение: <sup>1</sup> оно не находится в плоскости привычных колебаний.

§ 4. Углубляя самонаблюдение и анализ нашего сознания, перейдем к другому не менее важному пункту. Известно, что такие элементы нашего сознания, как удовольствие, неудовольствие, удивление и т. п., выражаются в нашей речи *интонациями* (оставляю в стороне вопрос о том, что такое собственно «интонация» с фонетической точки зрения). Одно и то же слово, например, *смеркается*, может быть произнесено с интонацией неудовольствия, когда уменьшение света чему-либо препятствует, или с интонацией удовлетворения, радости по поводу приближения вечера и т. п. Само собой, однако, разумеется, что эти инто-

---

<sup>1</sup> Хотя обыкновенно мы не понимаем, в чем состоит отличие в каждом конкретном случае.



нации существуют только в словах<sup>1</sup> — вне этих последних их нельзя себе даже представить, точно так же, как невозможно себе представить отверстия для окон без стен.

Однако по основному свойству нашей психики элементы, входящие вместе в состав целого ряда разных представлений, вступают в тесную связь друг с другом. Определенная интонация слова, входя в качестве одного из элементов в представления разных слов, имеющих, однако, всегда один и тот же чувственный элемент, например неудовольствия, *необходимо* вступает в теснейшую связь с этим последним и таким образом в известной степени изолируется нашим сознанием. Подлинное существование подобной связи вполне доказывается теми обыденными, постоянно повторяющимися случаями, когда мы произносим с оттенком, например неудовольствия, и с соответствующей интонацией слова, никогда нами ранее не слышанные в таком произношении.

Таким образом, мы должны признавать известную самостоятельность, выражающуюся в способности вступать в независимые ассоциации, за такими элементами фонетических представлений, как, например, мелодия слова, которая сама по себе даже не может существовать.

Раз это так, то тем более мы должны признавать подобную самостоятельность за такими элементами акустических представлений, как те, которые символизируются написаниями *a, e, s* и т. д. и которые легко могут нами изолироваться в действительности, т. е. произноситься отдельно. Некоторые из них могут даже играть роль целых слов, как, например, «а», «и», призывающее «сс»... и т. д. Очень распространено мнение, будто «мгновенные», как *p, t, k...*, не могут быть произнесены отдельно; но раз мы произносим *at*, то решительно непонятно, почему мы не могли бы произнести просто *t*: оно мало сонорно и потому не будет слышно уже в небольшом отдалении, но может быть совершенно естественным.<sup>2</sup>

§ 5. Необходимо теперь ближе рассмотреть те психические процессы, в результате которых происходит изолирование таких элементов, как *a, u, i, d, p, s, v* и т. д., по большей части не конституирующих самостоятельных слов.

В силу присущей нам склонности к анализу, проявляющейся, конечно, особенно при научном мышлении, но находящейся в неразрывной связи с прочими функциями человеческой психики вообще, мы сравниваем различные звуковые представления

<sup>1</sup> Замечу кстати, что, например, «завтра!» и «завтра?» являются в той же мере разными словами, как, например, «карта» и «карты», «так» и «так ли?»: решительно все равно, чем и где достигается акустическая дифференциация; но раз она налицо и ассоциирована со смысловой, то перед нами два слова.

<sup>2</sup> Это мнение возникло среди учителей, которые действительно для того, чтобы быть услышаны всем классом, произносят нечто вроде [tə, pə, kə...]

[вместо *t, p, k...*]

и наблюдаем в них сходства и различия. Так, мы *узнаем* (Wiedererkennungsvorgänge, см. Wundt, цит. соч., стр. 288) элементы *s* и *n* в слове *сан*, как тождественные с начальным и конечным элементом в слове *сон*, и в силу этого сознаем, как отличные, срединные элементы *a* и *o* и т. д. Подобный анализ особенно ясно проявляется в рифмах, сущностью которых является ведь именно *узнавание* ритмически повторяющихся сходных групп фонетических элементов. Он проявляется не менее ясно при ослышках, когда говорящий искусственно выделяет сомнительный элемент, говоря, например: [sɔm̄], а не [soŋ] и т. д. Наконец, обучение грамоте по так называемому звуковому способу было бы лишено всякого смысла, если бы оно не основывалось на имеющихся уже у ребенка ассоциациях, да и самое создание алфавита было бы делом невозможным.

Здесь, однако, нужно иметь в виду одно обстоятельство: не все проходящие через сознание представления попадают в светлую его точку — большинство остается у порога сознания; в светлой же точке появляются лишь те, которые имеют для нас интерес в данный момент, а потому привлекают наше внимание. Так как основной интерес речи лежит в смысловых представлениях, то звуковые нормально не находятся в светлом пункте сознания. Казалось бы, с этой точки зрения, что и анализ звуковых представлений нормально нами не производится, и фонетическая делимость есть результат в значительной степени научного мышления. Но дело в том, что элементы смысловых представлений оказываются зачастую ассоциированными с элементами звуковых представлений, так, *l* в словах *пил, бил, выл, дала* ассоциировано с представлением прошедшего времени; *a* в словах *корова, вода* ассоциировано с представлением субъекта; *y* в словах *корову, воду* с представлением объекта и т. д. Благодаря подобным смысловым ассоциациям элементы наших звуковых представлений и получают известную самостоятельность.

Наилучшим доказательством этой самостоятельности элементов наших звуковых представлений служат многочисленные факты истории разных языков, известные под названием аналогических образований (Analogiebildungen), например: мы говорим *tr'os* вместо *tr'as* (тряс), при *tr'esu*, *s'ok* вместо *s'ek* (сек) при *s'eku* и т. д. под влиянием таких случаев, как *n'os* при *n'esu*, *gr'op* (греб) при *gr'ebu*, *st'er'ok* (степез) при *st'er'egu* и т. д. Влияние это было бы абсолютно необъяснимым, если бы мы отрицали психическую самостоятельность таких элементов, как *e*, *o* и т. д. В самом деле, психологический смысл пропорции

$$n'esu : n'os = tr'esu : x \quad x = tr'os,$$

которой обыкновенно объясняют подобные явления, сводится к тому, что в глаголах с коренным вокализмом *e* в настоящем времени представление прошедшего времени ассоциировано с коренным вокализмом *o*. Само собой разумеется, что представление

прошедшего времени находится в теснейшей связи с конкретным значением того или другого глагола, точно так же, как и *о* не висит где-нибудь в воздухе, а находится в том или ином соседстве; однако это конкретное значение и соседство являются величинами переменными и, как таковые, находятся под порогом сознания всякий раз, когда мы образуем такие формы, как *tr'os* вместо *tr'as* и т. п. В этом можно убедиться и путем самонаблюдения: зная хорошо данный язык, мы легко образовываем формы по аналогии, но для подыскания примеров, оправдывающих эту аналогию, требуется довольно сильное напряжение. Если бы *о* прошедшего времени не выделялось нашим сознанием из целого слова, то никакая «аналогия» не была бы возможна, как ее не бывает при изолированно стоящих словах, где нет достаточных стимулов для выделения каких-либо элементов.

§ 6. Элементы звуковых представлений, подобные русским *a, i, s, v* и т. д., называются обыкновенно «звуками»; но для того, чтобы подчеркнуть их психическую природу и отличить их от звуков в строгом и прямом смысле слова, является целесообразным дать этим элементам какое-либо иное название. Термин «фонема», предложенный Бодуэном, будет, по моему мнению, вполне подходящим в данном случае, тем более, что он уже употребляется во многих французских лингвистических сочинениях, где он является эквивалентом немецкого «Sprachlaut». Само собой разумеется, что дело не в термине, а в понимании, но термин зачастую является хорошим «temento».

На основании сказанного в предыдущем параграфе фонему *провизорно* можно определить следующим образом: это *кратчайший* элемент общих акустических представлений данного языка, способный ассоциироваться в этом языке со смысловыми представлениями.<sup>1</sup>

§ 7. Раз фонемы являются как бы отрезками общих акустических представлений, то очевидно, что и сами они будут общими представлениями, представлениями-типами, которым соответствует колеблющееся произношение. Таким образом, все сказанное относительно слов-предложений (см. §§ 2, 3) всецело относится и к фонемам.

Но фонемы являются представлениями-типами не только как части более сложных общих представлений, но и в другом отношении: изоцряя наше самонаблюдение и в особенности наблюдая произносимое посредством приборов, можно констатировать, что разнообразие элементов акустических представлений чрезвы-

<sup>1</sup> Из этого определения следует, что хотя в ближе нам стоящих языках *s, k, t, š* и т. д. и являются самостоятельными фонемами, но это отнюдь не является обязательным; можно себе представить язык, в котором все слоги открытые и состоят из одного какого-либо согласного и гласного *a*, и в таком языке фонемами будут *sa, ka, ta, ša* и т. д. — *a* не будет отделяться сознанием. В известном отношении к подобному состоянию, по-видимому, приближался древнеяпонский язык, что и отразилось на японском алфавите.

чайно велико, во всяком случае бесконечно больше, чем это обыкновенно предполагается. Особенно поучительными в данном случае являются исследования Томсона («Фонетические этюды», Варшава, 1905), из которых следует, что если рассматривать ударенные гласные русского языка, произносимые в словах, то окажется, что оттенки, при этом наблюдаемые, составляют чуть ли не непрерывную шкалу. И можно с уверенностью сказать, что число наблюдаемых оттенков будет все увеличиваться по мере усовершенствования средств наблюдения.

Между тем, поскольку сознание изолирует кратчайшие элементы наших акустических представлений, оно различает относительно небольшое их число в каждом данном языке: очевидно, что при сосредоточении нашего внимания (в смысловых целях) на тех или других элементах звуковых представлений, целые группы оттенков возбуждают одинаковое, *типовое* представление. Очевидно также, что мы имеем здесь дело с процессом ассимиляции, о котором говорилось выше, так как *нормально* мы и не подозреваем о существовании всех этих оттенков, и если некоторые из них сравнительно легко замечаются внимательным наблюдателем, то о других мы лишь с удивлением узнаем из специальных сочинений.

§ 8. Какие же факторы регулируют образование этих типовых представлений, т. е. образование фонем? Прежде всего мы воспринимаем как тождественное все мало-мальски сходное с акустической точки зрения, *ассоциированное с одним и тем же смысловым представлением*, и, с другой стороны, мы различаем все способное *само по себе ассоциироваться с новым значением*. В словах *дети* и *детки* мы воспринимаем *t'* и *t* как две разных фонемы, так как в *одеть* | *одет*, *разуть* | *разут*, *тук* | *тюк* они дифференцируют значение: но мы воспринимаем различные оттенки первого гласного как *одну фонему*, так как не найдем в русском языке ни одного случая, где бы дифференциация смысла была поддерживаема лишь этими двумя оттенками, и такой случай нельзя себе представить даже в искусственном русском слове.<sup>1</sup>

Совершенно обратное видим во французском, где в словах *dé* и *dais* вся разница смысла покоится на различении двух фонем [e] (*e* узкого) и [ɛ] (*e* широкого),<sup>2</sup> тогда как слегка палатализованное [d]<sup>3</sup> в *dis* французы (отнюдь не русские) воспринимают как тождественное с *d* в (*oui*) *da*, так как эти два оттенка неспособны во французском дифференцировать значения.

<sup>1</sup> Возможно, однако, что диалектически эти два оттенка являются самостоятельными фонемами (см. § 13).

<sup>2</sup> То же мы видим и в итальянском, где различаются слова *pesca* [pɛska] 'персик' и *pesca* [peska] 'удит рыбу'.

<sup>3</sup> Ср. палатограммы у Rousselot «Etudes de prononciations parisiennes». «La parole», 1899, p. 489, fig. 68.

Приведу еще несколько примеров для иллюстрации сказанного.

1) В русском языке исследователи давно заметили два оттенка *a* и два оттенка *i* в зависимости от качества следующего согласного, например в словах *дан* и *дань*, *бит* и *бить*; но эти оттенки не способны самостоятельно дифференцировать слова — с точки зрения смысла они всегда тождественны; другими словами, в русском существует лишь одна фонема *a* и одна фонема *i*. Не то видим во французском и в чешском: в первом различаются два *a*, как в *pâte* и *patte*, а во втором два *i*, как в *pîti* и *piti*.<sup>1</sup>

2) Во французском в словах *cas* и *qui* [k] несомненно будет очень разное;<sup>2</sup> но *k*, слышащееся в *qui*, никогда не будет стоять перед *a*, слышащееся же в *cas* никогда не будет стоять перед *i* — поэтому «эти два оттенка *k* не играют роли смысловых величин, а разница между ними не существует с лингвистической точки зрения» Цитирую здесь слова Р. Passy (в «Exposé des principes de l'Association phonétique internationale», 1908, p. 15), одного из немногих фонетиков, который вполне понял эту простую идею о необходимости различать «les éléments significatifs d'une langue» от звуков, которые «n'ont aucune valeur distinctive».

3) Когда я изучал один из лужицких говоров в окрестностях Мужакова (Muskau), то записывал первое время такие слова как [Kɔrlɔ], 'Карл', [šipɔrɔla] 'подле' с другим *o*, нежели в таких словах, как [tɔ] 'то', [tɔsk] 'чашка' и т. п., и, как оказалось из фоноавтографических записей, эти *o* были действительно значительно разные. Но когда я обратился с расспросами по поводу наблюденного мною явления, то оказалось, что туземцы вовсе не отличают этих двух оттенков *o*: меня стали уверять, что я ошибаюсь, причем для убедительности произносили [kɔ: — ɔla], т. е. протягивали *o* и отделяли следующее *rla*, и действительно *o* при этом получалось нормальное; но как только слово произносилось целиком, *o* получало отличный (для меня) оттенок, зависящий, очевидно, от следующего *r*. Обвинять жителей в исключительной фонетической тупости не приходится, так как они прекрасно различают три рода *o* в своем языке, из которых одно было для меня очень трудно отличать в беглой речи. Думать, что здесь сказывается влияние графики, нельзя, так как они все неграмотны на своем родном языке,<sup>3</sup> а при попытках пе-

<sup>1</sup> По моим наблюдениям, в чешском различия по количеству при *i* и *u* отступают на задний план перед различиями по качеству, т. е. первые могут и не осуществляться и, действительно, по большей части не осуществляются, тогда как вторые всегда налицо, впрочем, я, конечно, допускаю, что, не будучи чехом, я неверно толкую наблюдавшиеся мной факты.

<sup>2</sup> Оно будет чувствительно разное даже в таких словах, как *cas* и *cave*, ср. Rousselot «Principes», II, p. 652, fig. 434, 1. Вместо *cas* там взято несуществующее слово «káv» (транскрипция Rousselot).

<sup>3</sup> Muskau находится в Пруссии, где местный язык не допущен в школе.

редать свою речь немецким алфавитом они и те *o*, которые прекрасно отличают, передают через букву *o*.

4) По-русски в слове *воплъ* несомненно слышится *при сосредоточенном внимании* глухое [l̥], однако никто не будет его считать самостоятельной фонемой, и вряд ли даже кто из русских без некоторой подготовки заметит разницу в *l'* в словах *воплъ* | *вопля* и *уж*, конечно, не произнесет сочетания [l' a l']. Между тем в кимрском (уэльском) и в исландском [l̥] является самостоятельной фонемой и не зависит ни от каких специальных фонетических условий.

5) Голоскевич очень тонко различил в украинском несколько оттенков [l̥ - l̥] (Изв., Отд., XIV, 4, стр. 106); но все же они *нормально* воспринимаются сознанием как одна и та же фонема, так как не ассоциированы ни с какими смысловыми представлениями, находясь лишь в непосредственной фонетической зависимости.

Зато полагаю, что различие между [i] и [l̥ - l̥] являющимися в украинском самостоятельными фонемами, будет, по крайней мере в некоторых случаях, не больше различия *i*, *i* после мягких и *i*, *i* после твердых в чешском, о котором говорит Frinta («Novočeská Výslovnost», стр. 64) и которое существует, по-видимому, лишь фонетически.

6) В английском, как известно, можно различить два оттенка *l* в зависимости от положения в слоге: в начале, перед гласным *l* более высокого тембра и в конце слога *l* с более низким резонансом (*l*<sup>o</sup>, *l*<sup>u</sup> по Jones — «The Pronunciation of English», 1909, p. 23). Из них последнее очень напоминает русское *л*. Но, не будучи ассоциировано со смысловыми представлениями, это различие более или менее игнорируется сознанием — даже не во всех фонетиках о нем упоминается, что было бы немыслимо для русской пары *ль* | *л*.

Число примеров подобного рода может быть увеличиваемо без конца, как это ясно каждому практику-фонетику, имевшему дело с живыми языками. Полагаю, однако, что и приведенных достаточно для иллюстрации положений, высказанных в начале параграфа, и что я могу теперь перейти к дальнейшему исследованию природы фонем.

§ 9. Само собой разумеется, что фонемы являются общими представлениями не в логическом смысле, т. е. это не отвлеченные общие признаки группы частных представлений — это совершенно конкретное звуковое представление, которое возникает у нас, как результат процесса «ассимиляции», под влиянием довольно различных впечатлений. Поэтому позволительно спросить, каким же объективным оттенкам соответствуют фонемы. Вопрос довольно трудный, и я полагаю, что ответ на него будет различный от языка к языку, так как надо предполагать целый

ряд факторов, определяющих конкретные качества фонемы. Говоря вообще, *фонемамц являются те оттенки, которые находятся в наименьшей зависимости от окружающих условий.*

В одном, однако, отношении фонемы отличаются от всех объективно существующих в произношении оттенков и, пожалуй, даже приближаются к логическим общим представлениям: тому, что мы называем фонемой *a* в слове *ад* например, в произношении вовсе не соответствует нечто однородное — наоборот, гласный элемент по качеству представляет некоторую кривую, которая начинается [Λ] (неударенный гласный, например, в слове *попа*), проходит через всевозможные оттенки *a* и кончается открытым *e*, что можно наглядно представить следующим рядом, где цифры обозначают приблизительные отношения по длительности и где элемент, соответствующий нашей фонеме *a*, отмечен курсивом (ср. § 60):

$${}^6[\Lambda] - {}^6[\alpha-] - {}^5a - {}^4[a] - {}^5[a\perp] - {}^4[\varepsilon].$$

Мы, однако, вовсе не замечаем этих изменений. Объясняется это тем, что кривая эта будет разная в зависимости от разного соседства (стал = st — a — ł, пах = p — a — x, взял = vz' — a — ł и т. д.), постоянной же остается лишь некоторая небольшая часть (отмеченная в ряду курсивом).

Очевидно, в нашем сознании усиливается именно тот элемент, который постоянно повторяется, остальные же, как переменные, нами игнорируются, и притом так основательно, что едва ли кто без особой тренировки сможет услышать все указанные выше оттенки. Поэтому, когда нам нужно по той или другой причине (для ясности, с целью подчеркнуть, в раздумье, в удивлении и т. п.)<sup>1</sup> протянуть ту или другую фонему, то мы протягиваем именно этот общий элемент. Его же мы и изолируем, как нечто *типическое* для данной фонемы.

§ 10. Остается обратить внимание еще на одно свойство фонемы, важное для правильного понимания так называемых «аффрикат» и некоторых «дифтонгов»: *каждую самостоятельную фонему можно протянуть, не прибавляя к данному фонетическому сочетанию ничего нового; те же элементы, которые не имеют самостоятельности, а являются лишь частями других фонем, никоим образом протянуть нельзя, не прибавив нового элемента.* Примеров, кроме уже сказанного об *a* в слове *ад*, можно привести очень много:

1) Русские *с* и *щ* имеют несомненные элементы *s* и *š* (см. мою статью в M. S. L., XV, p, 237); однако эти последние не самостоятельны, так как достаточно их немного протянуть, для того чтобы мы восприняли результат как *cs*, *čš*.

<sup>1</sup> Вообще таких случаев в жизни представляется довольно много, и язык нельзя себе представлять, как какой-то безостановочный поток речи: человек не граммофон.

2) В том лужицком говоре, о котором я уже упоминал, есть особое узкое *e*, воспринимавшееся мной как нечто вроде [ei], т. е. как *e* с легкой дифтонгизацией; однако элемент *i* не может быть продолжен и потому не воспринимается отдельно от *e*. И действительно, туземцы безусловно отрицают присутствие какой-либо дифтонгизации в данном случае. То же наблюдается и при узком *o*, которое звучит приблизительно как [ou], и при *ó*, произносимом как нечто вроде [uɔ].

3) Нечто аналогичное видим и в английском, где долгие *e* и *o* воспринимаются как простые фонемы, несмотря на их значительную и притом объективно констатированную дифтонгизацию.

4) Та фонема, которую в верхнелужицком обозначают буквой *ě*, представляет из себя в сущности дифтонгическое сочетание [ie-]; но элемент *i* весьма краток и ни в коем случае не может быть продолжен, так что все сочетание воспринимается туземцами как монофтонг, как одна простая фонема.<sup>1</sup> Полагаю, что нечто подобное представляют литовское *ė* и латышское *ee*.

§ 11. Принимая во внимание все сказанное, можно придать такой окончательный вид определению фонемы (ср. § 6): фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова и могущее быть выделяемо в речи без искажения фонетического состава слова.

В этом определении я заменил термин моего провизорного определения «акустическое представление» термином «фонетическое представление», как обнимающим весь сложный комплекс относящихся сюда психических элементов, потому что, как известно, акустические представления неразрывно связаны с представлениями движений органов речи, необходимых для осуществления соответственного звука.

§ 12. Как вытекает из всего предшествующего изложения, фонемы — это продукт нашей психической деятельности, это в известной мере величины производные. Однако, если они являются хотя и типовыми, но все же *конкретными* фонетическими представлениями, то совершенно очевидно, что и сами они могут быть факторами психической деятельности и что, в частности при процессе говорения, мы всегда стремимся осуществить все свойства данного типового акустического представления в силу вышеуказанной неразрывной связи звуковых и двигательных представлений. Иначе говоря, мы стремимся «произносить фонемы» одинаково во всех положениях. И если мы этого не де-

<sup>1</sup> Я думаю, что одним из решающих моментов для восприятия является в подобных случаях длительность сочетания: если она более или менее равняется длительности простых фонем той же категории, то и все сочетание воспринимается как *простая* фонема.



лаем, т. е. если мы все-таки произносим по-разному в зависимости от фонетических условий, то происходит это от недостаточного задержания вниманием влияния других фонетических представлений, находящихся одновременно в сознании.<sup>1</sup>

В справедливости сказанного нетрудно убедиться: в слове *дети* мы произносим закрытое *e* в зависимости от мягкости последующего согласного; но этот оттенок *e* не является самостоятельной фонемой, и вместо него неминуемо появляется нормальное *e* (соответствующее фонеме), как только нам случится протянуть это *e*, например, в удивленном восклицании, *ну, дети!* [пц, d'e:t'ь!], но никогда [пц, d'ë:t'ь!]. То же самое видим и в других аналогичных случаях: [dan'], но [da:n'] и т. д.

Так надо понимать те явления, которые Бодуэн называет «несоответствием исполнения с намерением»; и мне кажется, что при такой постановке вопроса «распадение фонем на оттенки под влиянием разнообразных фонетических факторов» отнюдь не является образным и в еще меньшей степени метафизическим выражением. И мне кажется даже, что разыскание этих оттенков, на которые распадаются фонемы, а также объяснение причин появления каждого из них и являются основными задачами фонетики.

§ 13. Если все до сих пор изложенное справедливо, то теоретическая важность различения фонем и их оттенков не подлежит ни малейшему сомнению. Остается сказать еще о его практическом значении.

Различение это представляется мне безусловно необходимым с узко лингвистической точки зрения: оттенки фонем, не будучи ассоциированы со смысловыми представлениями, являясь лишь неосознанным следствием окружающих условий, *не способны к перенесению «по аналогии»*, т. е. не являются теми основными единицами, с которыми мы только и можем оперировать в лингвистике.

Для пояснения этой простой мысли возвращаюсь к моим лужицким примерам: особенное отмеченное мною *o*, появляясь только перед *r* и не сознаваемое говорящими, как отличное, очевидно, не может быть никуда перенесено в силу каких-либо морфологических процессов. Другое дело узкое *o* слегка дифтонгирующееся и появившееся перед губными и заднеязычными: оно вошло вполне в сознание говорящих и стало самостоятельной фонемой, так что у предлога *do*, например, который должен бы звучать иногда [do], иногда [dɔ] (в зависимости от следующего слова), могла быть обобщена форма [do] совершенно независимо от фонетических условий.

---

<sup>1</sup> Что касается задерживающей силы внимания, то совершенно ясно, что она регулируется лишь легкостью понимания и выступает лишь тогда, когда влияние других представлений искажает слово до неузнаваемости.

То же относится и к четвертому отмеченному мной оттенку *o* (*ó* письменного языка — нечто вроде [uɔ]), появившемся только в начальном слоге слова после заднеязычных и губных. Оно также вполне вошло в сознание, и можно сказать, например: *ku godam* 'к святкам' и *ku gódam* по аналогии к именительному падежу *gódy*, и если спросить туземца, как лучше, то вопрос будет понят; спрашиваемый попробует сказать так и так и ответит, что и то и то одинаково возможно.

Само собою разумеется, что абсолютной границы между оттенками и фонемами нет, как вообще в природе нет никаких резких разделений, которые обыкновенно принимаются нами лишь ради удобств научного изучения. На самом деле существуют фонемы более самостоятельные и менее самостоятельные. В § 38 второй части будет указано различие в этом смысле и его причины между *a, e, i, o, u*, с одной стороны, и *ы*, с другой стороны, в русском. Могу указать также на фонему [ž] в моем языке (в словах *ежжу*, *дожди*, и т. п., хотя и не во всех случаях подобного типа): ввиду того, что она встречается лишь в сочетании с предшествующим *ж*, а морфологическая граница редко приходится между ними, самостоятельность ее очень слабо сознается мной, и я несколько склонен рассматривать все сочетание [ž'ž'] как одну фонему. С другой стороны, некоторые оттенки близки к тому, чтобы стать фонемами — так, в моем языке [š'] не является самостоятельной фонемой, однако появление его и после некоторых мягких содействует относительному выделению его среди прочих оттенков.

Вообще говоря, фонетическая история языка, в известной части, сводится, с одной стороны, к исчезновению из сознания некоторых фонетических различий, к исчезновению одних фонем, а с другой стороны, к осознанию некоторых оттенков, к появлению других новых фонем. В моей практике был в этом отношении очень поучительный случай. В том лужицком говоре, о котором уже много раз была речь, нормально говорится [do sturn'ε] 'в колодец'. Раз как-то, однако, один молодой рабочий, диктуя мне много раз записанную мной песенку, где встречается это слово, продиктовал [do sturnε], с твердым *n*. Я переспросил, он повторил свое; тогда я обратился к присутствовавшим, спрашивая их мнение; все нашли, что он правильно произносит это слово, хотя сами произносили его с мягким *n*. После ряда всевозможных контрольных вопросов я пришел к ясному убеждению, что различие *n* | *n'* исчезает из сознания говорящих, лишаясь смысловых ассоциаций, которые все перенесены в данном случае на гласный: после бывших мягких стоит [ε], а после твердых [æ]. Различия в этих гласных всеми сознаются, и расспросы о них всеми легко понимаются, вопрос же «[n'ε] или [nε]» непонятен, так как и то и другое в равной мере удовлетворяет ухо местных жителей.

Нечто аналогичное может произойти и в русском языке с разными оттенками *e*: два нормально мной не различаемых оттенка могут стать самостоятельными фонемами. случаев к этому может представиться много. Укажу на слова *передний, средний, летний*, и т. д. Мягкое качество *d, t* нами здесь не воспринимается, так как в этом положении *d* и *t* не имеют самостоятельного взрыва (в моем языке они и являются твердыми, а предшествующий гласный имеет более широкий оттенок). Предположим, что эта мягкость будет играть в данном случае морфологическую роль; тогда *d* и *t* будут произноситься с поднятием средней части языка к нёбу; акустически же, ввиду отсутствия самостоятельного взрыва, это может обнаружиться лишь на качестве предыдущего гласного, оттенки которого, таким образом, должны будут появиться в светлом поле сознания. Если таких случаев будет достаточно, то новые фонемы готовы. Некоторые обстоятельства делают для меня вероятным, что многие русские говоры различают [e] и [e̞] как самостоятельные фонемы, но, к сожалению, я не имел случая исследовать ближе этот вопрос.<sup>1</sup>

§ 14. Еще несколько слов о трудности практического различения фонем от их оттенков. Как должно следовать из предыдущего изложения, для туземцев это абсолютно легко, так как фонемы являются непосредственными фактами их сознания, оттенков же они нормально не замечают. Некоторую трудность могут разве представить пограничные случаи. Зато делать это различение в чужом языке так же трудно, как вообще трудно наблюдать чужую душевную жизнь. При диалектологических исследованиях самым трудным (и едва ли не самым важным) является не записывание разных тонких отличий, а констатирование того, какие отличия в данном языке важны, а какие не важны с точки зрения смысла, и здесь приходится со своим аршином, со своими языковыми привычками не приходится, так как зачастую то, что мы считаем грубыми отличиями, туземным населением вовсе не воспринимается, а то, что мы считаем не-

---

<sup>1</sup> Преподавая в текущем учебном году на курсах новых языков основы французского произношения, я имел случай констатировать, что мои слушательницы распадаются, с точки зрения различения французских *é* и *è*, на следующие группы (в зависимости от их диалекта): большинство, подобно мне, не различает их и упорно произносит при упражнениях ряд *i, é, é, a* вместо требуемого — *i, é, è, a*; однако им можно растолковать французское *è* на русских примерах *цеп, цены, Бэла* и т. д. (подробнее о разных *e* см. § 50), и они научаются его произносить верно (есть, однако, некоторое число лиц — диалект которых затрудняюсь определить — произносящих, по-видимому, и в вышеприведенных русских словах обычное *é*); вторая группа — из южной России — сразу понимает различие двух *e*, но произносит их неверно: *é* чересчур закрыто (как в *тень*), а *è* как *é*; наконец, третью группу составляют уроженки Украины (их, правда, у меня было очень мало), которые, подобно чехам, произносят звук средний, годящийся еще для краткого *è* в закрытых слогах (*cette, celle*), но не подходящий ни к *é* в *passerai*, ни к *è* в *reine, passerai*.

важной subtilностью, на самом деле ассоциируется с морфологическими и смысловыми представлениями, а потому ясно всякому туземцу и может быть констатировано малым ребенком, которому объяснили, что от него хотят.

§ 15. Переходя к другому понятию, лежащему в основе настоящего исследования — неофонетическим альтернациям, или дивергенциям, я должен констатировать, что теория их развития И. А. Бодуэном де Куртене в вышеуказанной его работе с достаточной полнотой. То, что я считал нужным прибавить, сказано выше, так как ясно, что мои «объективно проявляющиеся в произношении оттенки фонем» являются дивергентами Бодуэна. Как отмечалось в § 12, эти оттенки потому только и не тождественны с фонемами, что в произношении всякий раз имеются факторы, автоматически изменяющие фактическое осуществление нашего намерения, а это и является основным признаком дивергенций Бодуэна.

Но нужно сказать, что обратное не всегда справедливо, т. е. не все дивергенции будут оттенками фонем, так как понятие Бодуэна шире: оно включает и те случаи, когда мы под влиянием этимологического чутья воспринимаем как нечто одинаковое то, что в других случаях нами различается.

#### О КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАСНЫХ (стр. 72—76)

§ 45. Я отказываюсь дать какую-либо классификацию гласных. Для акустической классификации наши данные еще чересчур шатки и даже противоречивы. Лучшая физиологическая — Суита — расплзается по всем швам, как только попробовать применить ее к действительности: русское *a* не находит в ней себе места; не знаю также, куда можно поместить описанной мной *o*; особенные резьянские гласные, которые Бодуэн назвал переднеязычными, вовсе не годятся в таблицу. Форма поверхности языка, играющая немаловажную роль, не принята Суитом во внимание. В переднем ряду три ступени явным образом недостаточны, тогда как с тремя ступенями в заднем ряду не знаешь, что делать, так как дифференциация губных гласных зачастую делается больше губами, нежели языком, и параллелизма между действиями этих органов сплошь и рядом не существует.

Физиологически наиболее определенными понятиями являются губные гласные (и то с оговорками) и гласные переднего ряда, т. е. с языком, продвинутом к нижним зубам (*a—e—i*); но чуть язык отодвинулся назад, как начинается бесконечное разнообразие, с трудом сводимое к *немногим* принципам. Если принять во внимание разные положения языка, приводимые мной в отделе II настоящей части, а также сообщенные Э. Мейером (в «Festschrift Viëtor», 1910) «пластографические» рисун-

ки, то окажется, что классификации наши являются в значительной мере неудовлетворительными.

Чтобы не усложнять дела привлечением большого материала, ограничусь указанием на сравнительно грубые отличия *и* и *ы*. При первом языке несомненно больше оттянут назад, но стоит очень низко — с этим можно мириться, так как это не вносит новых понятий (хотя это при *и* по правоверной фонетике и не полагается). Зато что делать с различиями в положении конца языка: при *ы* он подогнут, а при *и* — нет; это не предусмотрено нашими таблицами, так как, если можно, пожалуй, называть *ы* high-out-back, то *и* едва ли подойдет под mid-in-mixed: конец языка при нем все же опущен (термин mixed относится к плоскому положению языка).<sup>1</sup>

Впрочем, самый главный недостаток в наших системах гласных — это незнание связи между акустическими и физиологическими качествами. С этой стороны большим шагом вперед является книга Бремера; но, к сожалению, она слишком субъективна, что, впрочем, и не могло быть иначе ввиду неразработанности акустической части фонетики.

Если, однако, с этой точки зрения подойти к генетическим классификациям, то дело значительно усложнится, так как оказывается, что «губное *о*» можно образовать без помощи губ, а «заднеязычное *и*» можно образовать без всякого движения языка назад. (Об этом см. уже у Гольдшмидта.)

Акустическая сторона вопроса, впрочем, не исчерпывается исследованиями объективного состава звука — важную роль играет наше восприятие его: что именно из этого состава мы считаем характерным для данной фонемы. В этом могут быть даже различия от языка к языку: в моей практике был случай, когда то, что я считал за несомненное *о*, туземцы считали за не менее несомненное *и*, т. е. за звук близкородственный тому, который и я считал за *и*.

§ 46. В заключение несколько слов о «напряженности» и «ненапряженности» (*narrow* и *wide*). Я считаю это различие очень важным. Только не надо его путать с понятием «открытости» и «закрытости»<sup>2</sup> (*lowered* и *raised* Суита). Можно образовать ряд напряженных гласных [α, а, æ, ε, е, е, і, і], где каждый после-

<sup>1</sup> Хотя треугольник Хельвага и кажется мне практически самой удобной схемой, однако классификация Рудэ («*Eléments de phonétique générale*», р. 84) не может иметь больших научных претензий, так как положения *всего* языка символизированы в ней точками; благодаря этому два совершенно разных положения могут получить общую точку; да и где ее поставить, например, для моих *а* или *о*?

<sup>2</sup> Не вижу особенной надобности отказываться от терминов «открытый» и «закрытый», они привычнее терминов «широкий» и «узкий», обозначая, однако, то же самое. Не следует только их применять к *а* «переднему» и *а* «заднему». Зато английские термины «wide» и «narrow» (и их переводы — «широкий» и «узкий») в смысле «напряженный» и «ненапряженный» безусловно вредны, о чем ниже.

дующий будет *закрытым* для предыдущего, а этот последний *открытым* для предшествующего; таким образом, понятия эти являются всецело относительными (не надо забывать, что три ступени Суита — число совершенно случайное: их могло бы быть и две и пять). «Напряженный» и «ненапряженный», хотя по сути дела тоже относительные понятия, однако, на практике просто противоплагаются друг другу: любая артикуляция может быть сделана напряженной и ненапряженной, т. е. при любой артикуляции мускулы артикулирующих частей могут быть сокращены и не сокращены. От этого соответственная часть, языка, естественно, выпучивается, суживая проход — отсюда «паггов»; но от этого, как говорит сам Суит, *e* не может стать *i*, хотя бы и достигло в этом месте его высоты. Суит и Ллойд придают большое значение этому выпучиванию, хотя сами признают, что при задних гласных это не так ясно.

Я понимаю дело иначе. Во-первых, напрягаются не только мускулы артикулирующих частей, а более или менее всей надставной трубы (о чем говорит отчасти и Суит), так что в результате получается при «напряженных» артикуляциях резонатор с более или менее твердыми стенками, а при «ненапряженных» — с мягкими стенками. Очевидно, что резонатор с твердыми стенками усиливает характеристики гласного лучше, чем с мягкими, что мы и констатируем на деле: так называемые «напряженные» звуки звучат ясно и *качественно* определено; в «ненапряженных» — *качество* гласного как-то скрадывается, и они звучат до некоторой степени безразлично. Это подтверждается и следующим простым наблюдением: в вышеприведенный ряд я могу вставить по крайней мере еще столько же промежуточных ступеней, и все слушатели ясно услышат их различие; но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь был в состоянии произнести весь этот ряд с ненапряженной артикуляцией, сохранив для слушателей все восемь ступеней.

Что касается русских гласных *фонем*, то они не дифференцируются по степени напряженности; но если всю их систему сравнить с французской, то они окажутся значительно менее напряженными: в этом, между прочим, наиболее существенное отличие французского произношения от русского.

#### О МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (стр. 106—125)

§ 78. Количественные отношения гласных в разных положениях были изучены мной экспериментальным методом.<sup>1</sup> Хотя подобные исследования и относятся к технически наиболее легким задачам экспериментальной фонетики, давшей в этой области

---

<sup>1</sup> Так как в русском количественные различия гласных не являются выразительным средством языка, то я не рассматривал вопроса о *восприятии* объективно существующего разнообразия в этой области.

такие образцовые работы, как «Englische Lautdauer» Мейера, однако, прежде чем перейти к изложению результатов моих исследований, необходимо сказать все же несколько слов об их технике.

Я последовал примеру Мейера и записывал отдельные слова, а не какой-либо связный текст. Таким образом я мог, во-первых, выбирать слова с такими сочетаниями, которые меня интересовали, а во-вторых — и это самое главное — я изучал данное явление в наиболее изолированном виде, т. е. вне всякого влияния акцента и ритма фразы, которые несомненно могут иметь свое влияние на количественные отношения отдельных слов. Кроме того, и влияние чувств, которые тоже могут действовать задерживающе или ускоряюще, было сведено в моих исследованиях до минимума, так как ряды слов, не имеющих друг с другом никакой связи, малоспособны будить чувства; к тому же запись слов посредством приборов требует сосредоточения всего внимания экспериментатора на технике дела, так что слова произносятся, можно сказать, совершенно механически. При таких условиях можно надеяться, что результаты зависели главным образом от привычного механизма произношения и от тех случайных явлений, которых вообще нельзя избежать, раз имеешь дело с человеком, а не с машиной. Подобные условия записи позволяют также думать, что на результаты не повлияла никакая предвзятая идея, так как хотя я и сам произносил в аппарат слова, однако до сознания моего, занятого исключительно техникой эксперимента, решительно не доходили причины, заставившие меня выбрать то или другое слово. Впрочем, слов было так много, и они были так перемешаны, что предустановленный мною план исследования совершенно терялся в их массе.

§ 79. Мною записано и исследовано 628 односложных, 627 двусложных и 122 трехсложных, а всего 1377 слов. Несмотря, однако, на такую массу материала, исследование количественных отношений русских гласных не может считаться законченным, уже хотя бы по одному тому, что все наблюдения были произведены над одним человеком. Да и некоторые подробности отдельных вопросов не разработаны с надлежащей полнотой. Намечены лишь некоторые главные пункты — дальнейшая работа должна явиться результатом коллективного труда какой-нибудь лаборатории, подобно аналогичным измерительным работам в области химии, физики и т. п.

### Об опаздывании регистрации

§ 81. После работ Мейера нельзя обойти молчанием поднятого им вопроса о запаздывании регистрации, так как его рассуждения («Beiträge zur deutschen Metrik» в «Neuere Sprachen»,

VI, I 216 ss.), хотя и содержат кое-что спорное, как например, не основанную на экспериментах критику мареевского определения скорости распространения воздушного толчка в трубе определенного диаметра, однако по сути дела совершенно правильны: нужно действительно признать тот факт, что то или другое изменение в положении органов не всегда абсолютно совпадает во времени с соответственным движением пишущего рычажка, т. е., иначе говоря, что регистрация движений органов совершается с некоторым опозданием.

Это опоздание неизбежно по условиям воздушной регистрации движений и зависит: 1) оттого, что изменения в давлении воздуха требуют времени для его распространения и 2) оттого, что отдельные части записывающего барабанчика в разных местах имеют много трений, а мембрана — определенную упругость; на их преодоление требуется определенное количество энергии, а следовательно, и времени.<sup>1</sup> Таким образом, опаздывание будет находиться в прямой зависимости от длины каучуковой трубки, соединяющей амбушюр с записывающим барабанчиком, и от силы трения отдельных частей. Затем, при подъемах кривой, опаздывание будет находиться в прямой зависимости от упругости мембраны и в обратной — от первоначальной силы воздушного толчка; при падениях кривой оно будет находиться в обратной зависимости от упругости мембраны и от степени натяжения ее в данный момент, иначе говоря, от степени данного отклонения пишущего рычажка.

Так как все мои три записывающих барабанчика были снабжены каучуковыми толстостенными трубками одинаковой длины и так как при контрольных опытах, произведенных по общеизвестному методу, оказалось, что они работают вполне синхронистично, то при моих записях длину проводящей трубки, трение частей и упругость мембраны нужно считать постоянными величинами, иначе говоря, факторы эти не оказали никакого влияния на окончательные результаты. Зато сила первоначального воздушного толчка, а также отклонение пишущего рычажка изменялись от опыта к опыту, и поэтому представляется крайне важным определить размер ошибки, вносимой этими факторами. Что касается первого из них, то Мейер дал, по-моему, прекрасный и сравнительно простой метод для определения вариаций опоздания в зависимости от силы первоначального толчка. Я применил этот метод, приспособив его к своей установке. Сила толчка измерялась углом подъема кривой. Эта сила в моих

---

<sup>1</sup> Более подробно см. у Мейера. Нужно только иметь в виду, что при его расположении опыта, т. е. при вертикальном положении регистрирующего цилиндра, вес различных частей, лежащих на мембране, имел большое значение, но что при горизонтальном положении регистрирующего цилиндра и, следовательно, при вертикальном положении плоскости записывающего барабанчика он почти не играет никакой роли, а потому мною был оставлен без внимания.



записях колебалась от  $78^\circ$  (в среднем) при  $(p, t)$  до  $24^\circ$  при  $(g')$ . Контрольные опыты по способу Мейера дали в среднем запоздание для толчка около  $75^\circ - 0,44\sigma$ , а для толчка около  $25^\circ - 0,69\sigma$ , т. е. запоздание регистрации колебалось в моих записях в пределах  $0,25\sigma$  и таким образом не может играть никакой роли, так как я считал лишь целые сигмы. У Мейера вариация эта была значительно больше ( $0,7\sigma$ ), и это происходило, вероятно, от того, что он употреблял барабанчики слишком большого диаметра, как это уже указывалось Кальция в «La Parole», 1905, р. 37. Я попробовал делать опыты с барабанчиком диаметром в 47 мм и получил вариацию почти в целую сигму.

Выше было мною указано, что минимальная в среднем сила первоначального толчка встречается при  $g'$  ( $24^\circ$ ). Это не совсем так, потому что при  $n, n', m, m'$  эта сила зачастую бывает много меньше. Но я тогда и не пользовался для определения границ между отдельными фонемами моментом поднятия кривой, показывающей изменение тока воздуха, выходящего из рта; для этого служила носовая кривая, на которой уменьшение истечения воздуха через нос было почти всегда заметно. Впрочем, и на первой кривой можно приблизительно найти место прекращения затвора, так как, если следует гласная, то с прекращением затвора на ней начинаются мелкие зубчики голосовых колебаний. Подробнее об этом дальше.

Что касается ошибок при падениях кривой, то Мейер не обратил внимания на них, да и мне лишь теперь<sup>1</sup> приходит в голову, что опоздание регистрации должно в этом случае зависеть от степени отклонения пишущего рычажка, т. е. от степени растяжения мембраны. Следовало бы, конечно, исследовать эту зависимость экспериментальным путем; но простых методов, насколько мне известно, никем не указано, а то, что приходит мне в голову, требует конструирования довольно сложных приборов, и у меня в настоящую минуту нет времени, чтобы заняться этим вопросом. Впрочем, само собой разумеется, что я обязан был бы произвести это исследование, если бы мне приходилось толковать мои кривые *исключительно* на основании моментов их падения. На самом деле этого не случилось, как будет видно из дальнейшего: обыкновенно приходилось принимать в расчет и другие данные, и так как большого противоречия в подавляющем количестве случаев констатировать не приходилось, то можно думать, что ошибка и в этом месте была невелика и в значительной степени терялась в средних арифметических, так как вариации в степени отклонения пишущего рычажка (в важных для данной работы случаях) зависели главным образом от случайных условий данного опыта,

<sup>1</sup> Записи, которые лежат в основе настоящей работы, были сделаны мною весной 1908 г.

т. е. от степени прижимания амбушюра ко рту. Зависимости же этого отклонения от качеств данной фонемы нельзя констатировать, по крайней мере в моих записях, и во всяком случае степень отклонения не зависела от того, будет ли данный гласный узкий или широкий — факт, крайне важный для выводов моего исследования.

### О толковании кривых

§ 82. Считаю необходимым подробно объяснить мое толкование кривых, так как полагаю, что едва ли не самым большим искусством в экспериментальной фонетике является толкование кривых, умение вычитать из них все, что они дают. В этом умении, между прочим, и состоит, по моему мнению, одна

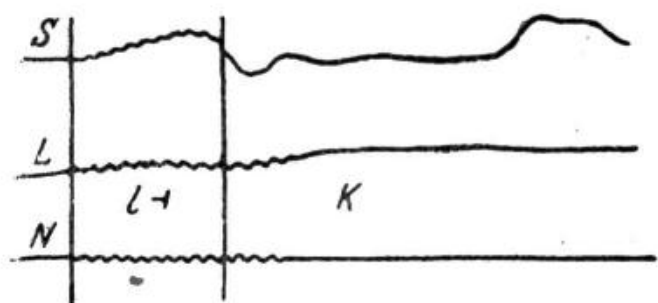


Рис. 12. ик [l-k].

из самых больших заслуг Руссло, хотя это, может быть, и не особенно заметно неопытному читателю его «Principes».

§ 83. Начало гласного без предшествующего согласного определяется крайне просто началом голосовых вибраций в виде мелких зубчиков на любой из трех кривых. Во всех моих записях все три кривые

оказались вполне синхронистичными в этих случаях (см. рис. 12).

§ 84. Начало гласного после *b*, *b'*, *d* определяется моментом поднятия кривой *S*,<sup>1</sup> т. е. началом взрыва (см. рис. 13).

Я полагаю, что в данном случае решающим моментом для восприятия начала гласного является контраст между сдавленным едва слышным звуком во время смычки (*Blählaut*) и полным, хотя бы и не однородным по качеству (переходные звуки) звуком голоса при раскрытом рте.

Что касается эксплозии предыдущего согласного, то я должен подчеркнуть необходимость различать звук взрыва (*Explosion*) от переходных звуков (*Gleitlaute*). Эти последние — неизбежный результат перехода органов из одного положения в другое, тогда как первый может быть или не быть (он является необходимым характерным признаком лишь того класса смычных звуков, которые Сиверс называет *Sprenglaute*) и есть не что иное, как мгновенный ударный звук, происходящий от сотрясения с силой раскрываемых органов, которые производят смычку. Если это так, то переходные звуки и эксплозия могут

<sup>1</sup> В дальнейшем я буду называть кривую, получаемую от записи тока воздуха, выходящего изо рта — кривой *S* (*souffle*), кривую, получаемую от записи колебаний гортанных хрящей — кривой *L* (*lagunx*) и кривую, получаемую от записи носовых колебаний — кривой *N* (*nez*).

быть и одновременны, и если решить переходные звуки относить к длительности гласного (а практически иначе и делать нельзя, так как наши гласные часто наполовину, а иногда целиком состоят из одних переходных звуков), то об эксплозии нечего и беспокоиться. Во всяком случае она никоим образом не измеряется скачком кривой: высота этого скачка пропорциональна количеству выходящего воздуха, а крутизна его — скорости выходящего воздуха, а следовательно, и давлению, получившемуся за затвором — к длительности ударного шума он не имеет никакого отношения.

Начало гласного после  $p$ ,  $p'$ ,  $t$  определяется точно так же, как и после  $b, b', d$ , моментом поднятия кривой  $S$ . Голосовые колебания на  $L$  и  $N$  начинаются большею частью одновременно со взрывом, иногда чуть позже. В среднем это опоздание для

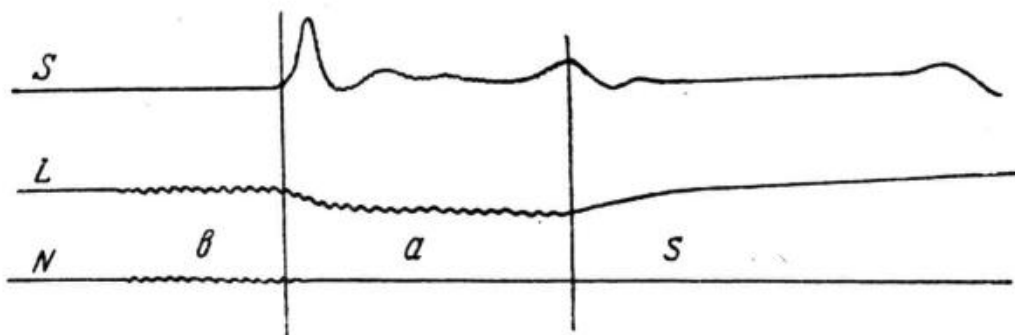


Рис. 13. *бас* [bas]. Масштаб годится более или менее для всех кривых этого рода.

$p$  и  $p'$  составляет  $0,4\sigma$ , а для  $t$  —  $0,2\sigma$ , так что это опоздание может быть отнесено на счет опоздания регистрации и недостаточного точного определения первой вибрации с малой амплитудой. Таким образом, можно считать, что для  $pa$ ,  $p'a$  и  $ta$  начало голоса совпадает со взрывом предшествующего согласного, как это находим, например, во французском. Оправдывать принятое мною деление не приходится, так как оно следует тому же принципу, что и деление  $ba$ ,  $b'a$ ,  $da$  (см. выше).

Начало гласного после  $d'$  определяется более резким поднятием кривой  $S$ . Дело в том, что кривая  $S$  сначала слегка поднимается над линией нуля и лишь спустя  $> 1\sigma$  более резко поднимается кверху. Легкое поднятие кривой  $S$  в конце смычки показывает небольшую ассибиляцию  $d'$ , которое является таким образом почти что ( $z'$ ) и представляет из себя начальную стадию белорусского  $dz$ . В остальном здесь нет никакого отличия от  $b, b', d$  (см. рис. 14).

Что касается  $g$  и  $g'$ , то они колеблются между типом  $b$  и типом  $d'$ , т. е. иногда при более тщательном произношении вовсе не ассибилируются, а иногда, при более небрежном произношении, ассибилируются слегка.

§ 85. Сказанное о  $d'$  справедливо во всей мере и по отношению к  $t'$ , которое является в сущности почти что ( $c'$ );  $k, k'$

колеблются, подобно  $g$  и  $g'$ , между типом  $t$  и типом  $t'$ , и, пожалуй, последний тип преобладает. Начало гласного после  $t'$ ,  $k$ ,  $k'$  определяется, таким образом, точно так же, как и после  $d'$ ,  $g$ ,  $g'$ , более резким подъемом кривой  $S$ . Но здесь дело значительно осложняется тем, что начало голосовых вибраций значительно опаздывает по сравнению с моментом поднятия кривой  $S$ . Это запаздывание в среднем при  $t'$  равняется  $1,3\sigma$ , при  $k$  —  $1,4\sigma$ , а при  $k'$  —  $0,8\sigma$ . Запаздывание это настолько значительно, что ни в коем случае не может быть объяснено опозданием регистрации, максимальная величина колебания которого определена мною приблизительно в  $0,25\sigma$ .

Является вопрос, можно ли относить к гласному этот глухой промежуток или его следует относить к согласному в виде аспирации. Так как я не слышу в таких случаях аспирации, т. е. шумного выхода воздуха, а скорее, если только это не вообра-

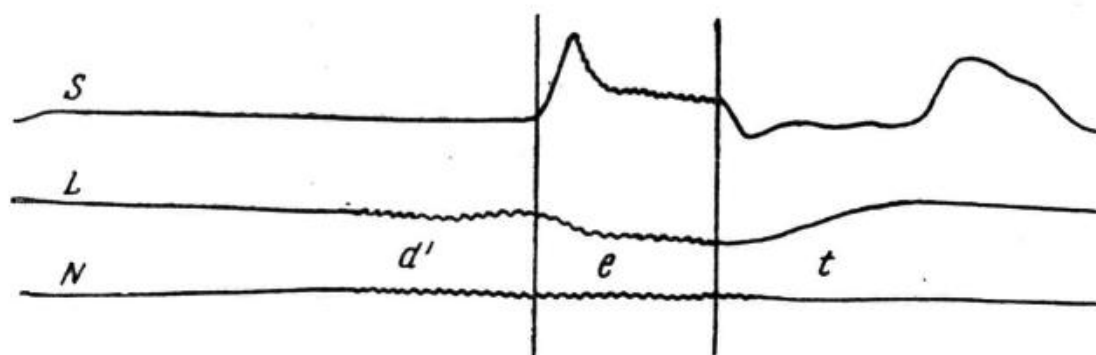


Рис. 14.  $ded$  [ $d'et$ ].

жение, могу констатировать некоторую паузу, то отсюда можно бы заключить, что во время этого глухого промежутка голосовые связки более или менее сближены и только еще не напряжены в достаточной мере. Таким образом, физиологически получилось бы некоторое основание причислять данный глухой промежуток к гласному, что я и буду делать в дальнейшем. Правильность подобного образа действия подтверждается еще и следующим обстоятельством: оказывается, что причисление этого глухого промежутка к длительности голоса вовсе не удлиняет гласных после глухих согласных, и длительность гласных, вычисленная таким способом, оказывается одинаковой после глухих и после звонких.

Во всяком случае это опоздание голоса вычислено мною для всех гласных, так что для получения длительности чистого гласного без этого глухого начала достаточно вычесть одно число из другого.

Точно так же и на тех же основаниях, что и после  $t'$ , определяется начало гласного после  $s$  и  $\check{s}$  с тою только разницей, что опоздание голоса после них достигает в среднем  $2\sigma$ .

§ 86. Начало гласного после  $m$ ,  $m'$ ,  $n$ ,  $n'$  не может быть определено по поднятию кривой  $S$ , так как ток воздуха, идущий

через рот, в большинстве случаев слишком слаб, чтобы сразу отклонить пирующий рычажок. Тем не менее и на кривой *S* имеются некоторые указания для определения начала гласного, а именно начало голосовых вибраций: во время смычки эти вибрации, конечно, не могут попасть на кривую *S*, а следовательно, их появление свидетельствует об устранении затвора. Впрочем, нужно заметить, что при очень слабом затворе и на кривой *S* могут появляться легкие, едва заметные вибрации. Но лучше всего начало гласного после носовых согласных определяется на кривой *N*: раскрытие рта, а следовательно, ослабление носового давления всегда так или иначе выражается на этой кривой.

§ 87. Труднее всего определяется начало гласного после спирантов. После *v, v', z, z', ž, l', j* начало гласного определяется более или менее резким подъемом кривой *S* (см. рис. 15).

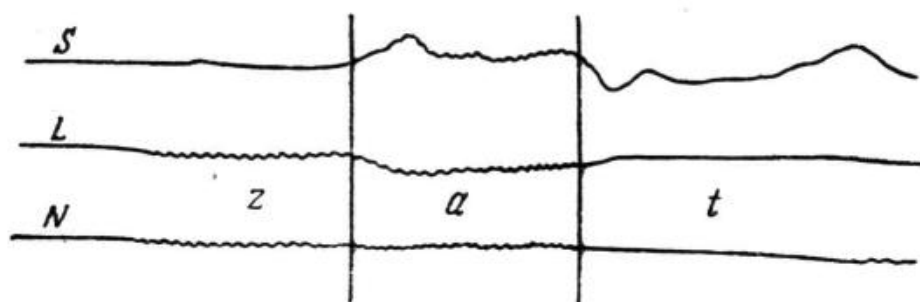


Рис. 15. *зад* [zat].

Хотя при спирантах и нет полной смычки, однако имеющееся звукообразующее сближение даже при звонких спирантах пропускает, по-видимому, в единицу времени меньше воздуха, нежели звучащая гортань, а поэтому вместе с прекращением сближения, т. е. с увеличением отверстия во рту, выходит тот избыток воздуха, который накопился позади сужения. Ясное дело, что с прекращением сближения, а следовательно, с началом резкого поднятия кривой *S*, прекращается и характерный шум согласного и что этот момент можно считать началом гласного. Затруднение лежит в том, что отверстие в месте сближения увеличивается понемногу, и иногда является невозможным определить момент прекращения сближения. Здесь приходится на помощь второй признак — появление на *S* голосовых вибраций большей амплитуды: вне рта амплитуда голосовых колебаний при маленьком отверстии должна быть меньше, чем при открытом рте. Что касается одновременного понижения кривой *L* (которое тоже может служить в данном случае опорным пунктом), то оно зависит от того, что гортань перестает так вдавливать в гортанную капсулу, что в свою очередь находится, вероятно, в связи с уменьшением давления в надставной трубе, являющейся во время сближения или затвора

во рту закрытым со всех сторон пространством, особенно при звонких звуках, когда голосовая щель сужена.

То же относится и к согласному *l*, но нужно отметить, что ввиду крайне вокального характера этого согласного его не всегда бывает возможно отделить от гласного.

Начало гласного после *f, f', s, s', š, x, x'* определяется точно так же, как и после звонких спирантов, моментом более резкого подъема кривой *S*.

Зато второй признак — появление вибрации бóльшей амплитуды — отпадает, так как голосовые колебания начинаются после этих согласных со значительным опозданием, и между концом согласного и началом голоса имеется некоторый глухой промежуток: после *š* — в  $1,8\sigma$ , после *f* —  $1,5\sigma$ , после *s* — в  $1,3\sigma$ , после *x* —  $1,2\sigma$ , после *s'* —  $1,1\sigma$ , после *f'* —  $0,7\sigma$ , а после *x'* — в  $0,5\sigma$  (средние для *š, f, f', x, x'* выведены на основании очень малого числа случаев).

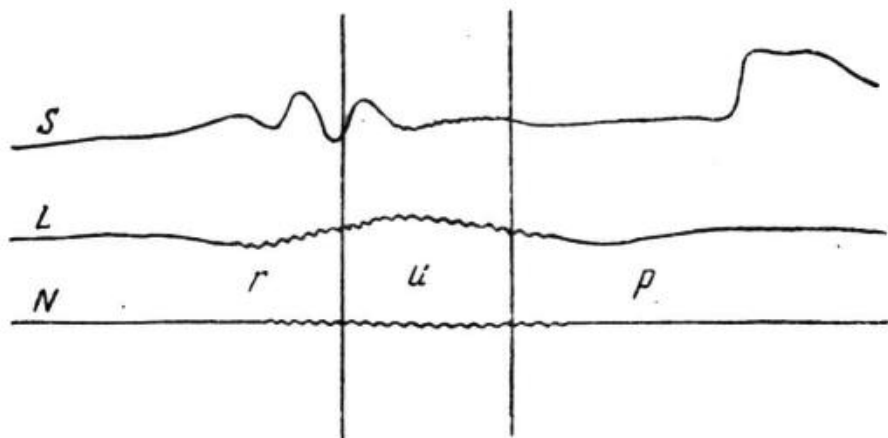


Рис. 16. руб [гир].

Я причисляю этот глухой промежуток по тем же соображениям, которые изложены в § 85 по поводу *t', k, k'*, к гласному.

§ 88. Начало гласного после *r* и *r'* определяется моментом последнего резкого подъема кривой *S* (см. рис. 16) и появлением на ней вибраций бóльшей амплитуды, хотя этот последний признак и не всегда бывает вполне надежен, так что к нему приходится прибегать лишь в крайних случаях, за неимением первого.

Характерными для моего *r* и *r'* являются вибрации напряженного конца языка, во время которых щель попеременно то суживается, то расширяется. Начало последнего расширения (на кривой — начало последнего резкого подъема кривой), т. е. момент, когда конец языка, потеряв свою характерную упругость, уже более не возвращается в положение, которое сужало (или закрывало, хотя это и не необходимо) отверстие — этот момент я считаю концом *r(r')* и началом гласного.

Что касается появления голосовых колебаний бóльшей амплитуды, то причина этого была указана выше; здесь же следует лишь прибавить, что такие колебания появляются на каждом подъеме кривой *S*, сколько бы ни было эровых вибраций,

как это и следует ожидать. В абсолютном начале у меня бывает одна-две вибрации; между гласными — всегда одна.

§ 89. Уже Мейером было отмечено, что при  $k$  перед взрывом замечается на кривой  $L$  несколько слабых вибраций, которые покрывают весь глухой промежуток, называемый им аспирацией.

Мейер толкует их как голосовые вибрации; к сожалению, его объяснение невозможно критиковать, так как он не дает своих кривых. То же самое замечается и в моих записях (см. рис. 17) и не только при  $k$ , но и при  $x$  (при  $x$  легкая волнистость заполняет почти все время сближения). Хотя и очень соблазнительно видеть в этих вибрациях зародыши голосовых колебаний, так как это могло бы бросить свет на некоторые явления исторической фонетики (например, итальянское *golfo* < греч. *χόλπος*), однако мне кажется более правильным объяснять эти колебания

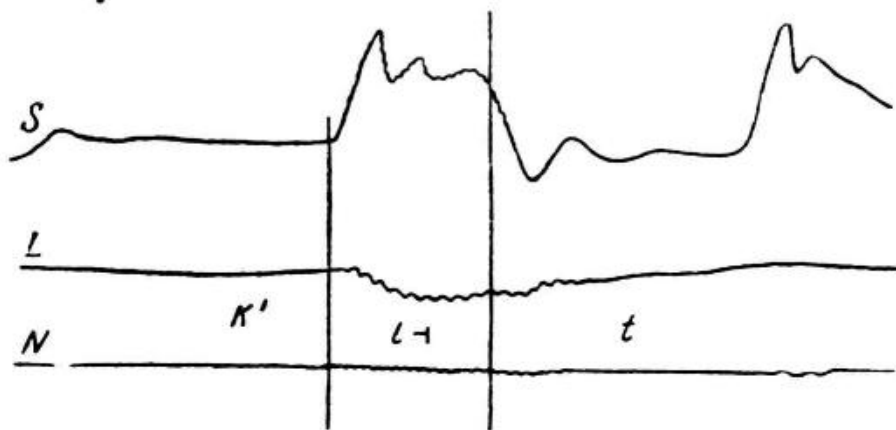


Рис. 17. *kit* [k<sub>1</sub>-t].

как сотрясения нёбных дуг под напором проходящего воздуха, передающиеся через фаринкс гортани в ее целом. Во всяком случае это не настоящие голосовые вибрации, как это видно из кривых, и, кроме того, они появляются лишь во время сближения, а не затвора заднеязычных согласных. По крайней мере на моих кривых они появляются или с того момента, когда кривая  $S$  едва заметно начинает подниматься над линией нуля, или непосредственно перед этим моментом; но ясно, что чересчур слабый ток воздуха вовсе не регистрируется, а если регистрируется, то с большим опозданием, так что трудно думать, чтобы вибрации, имеющиеся на моих кривых, приходились на время затвора. А так как Мейер работал с очень большим барабанчиком, мембрана которого была, вероятно, очень инертна, то позволяю себе подозревать, со всякими, конечно, оговорками, что его вибрации при  $k$  имеют то же происхождение, что и у меня.

§ 90. Конец гласного в абсолютном исходе определяется концом вибраций на той кривой, которая имеет их дольше всего: хотя по большей части показания кривых и в этом случае совпадают, однако затухание колебаний происходит так постепенно, что часто бывает трудно определить их конец. В особенности это относится к кривой  $L$ . Затрудняюсь указать причину этого

явления. Можно было бы предположить, что к концу гласного голосовая щель расширяется, как это показывает поднятие кривой  $S$ , и что поэтому, хотя отдельные воздушные пuffs (выражение Скрипчура) и продолжаются, однако они уже не вызывают такого сотрясения хрящей, так как больше нет первоначальной разницы в давлении под и над гортанью. Зачастую, впрочем, и кривая  $S$  бывает в этом отношении неудовлетворительна, и наилучшей является  $N$  — причиной является, вероятно, назализация конца гласных в абсолютном исходе.

§ 91. Конец гласного перед смычными (кроме носовых) характеризуется довольно резким (в большинстве случаев) спуском поднятой кривой  $S$  и прекращением на ней голосовых вибраций. В тех случаях, когда кривая  $S$  мало поднята, а потому резкого падения нет, определение конца гласного крайне затруднено и основывается главным образом на втором указанном признаке.

Согласно принятому мною принципу все переходные звуки относились к гласному, а потому конец его определялся наступлением смычки. Резкое же падение кривой и свидетельствует о наступившем затворе (или сближении). Совпадение этого признака со вторым является гарантией верности толкования. Впрочем, нельзя отрицать того, что *иногда* гласный мог быть мной немного сокращен, т. е. что конечные моменты экскурсии органов произношения для согласного были отнесены к последнему. Полагаю, однако (на основании сравнения первого и второго признака), что даже в тех случаях, когда такое сокращение имело место, оно не превышало 0,5  $\sigma$ , а в среднем оно значительно меньше. Верность толкования подтверждается еще и тем обстоятельством, что граница, проводимая мной по вышеуказанным признакам, в громадном большинстве случаев совпадала с довольно заметным увеличением амплитуды голосовых вибраций на  $N$  и (отчасти на  $L$ , где это не так ясно), что, по-моему, происходит вследствие прекращения возможности распространения голосовых вибраций (пuffs) в пространство. Голосовые вибрации, как это видно из кривых, продолжались на  $L$  и  $N$  после затвора и при глухих согласных, т. е. начало глухих смычных согласных было звонким в разной мере, в зависимости от качества предшествующего гласного. Подробнее об этом ниже.

§ 92. Конец гласного перед носовыми, кроме тех же признаков на кривой  $S$ , которые были указаны для прочих смычных, но которые часто бывают недостаточны ввиду слабого падения, определяется главным образом по кривой  $N$  или увеличением амплитуды колебаний, или легким повышением, происходящим от прорыва воздуха в нос.

§ 93. Конец гласного перед спирантами определяется более или менее резким понижением кривой  $S$ . Так как перед глухими спирантами эти моменты в громадном большинстве случаев совпадают с прекращением голосовых вибраций на  $L$  и  $N$ , то отде-



ление может быть сделано довольно точно. Что касается звонких спирантов, то приходится довольствоваться первым признаком, а кроме того уменьшением амплитуды голосовых вибраций на  $S$  (см. рис. 18). Впрочем, иногда, как это особенно часто случалось при  $l'$ , отделение было невозможно. Наконец, отделение было никогда невозможно при  $l$  и  $j$ , имеющих в конце слогов решительно вокальный характер.

§ 94. Конец гласного перед  $r$  и  $r'$  характеризуется резким спуском кривой  $S$  и исчезновением или по крайней мере уменьшением на ней голосовых вибраций. Если сравнить таким путем определенное начало  $r$ ,  $r'$  с  $r$ ,  $r'$  в абсолютном начале, то может показаться, что большая часть его отнесена у меня к предыдущему гласному. Но поскольку, однако, характерным для моего  $r$  является вибрирование языка, постольку все моменты, предше-

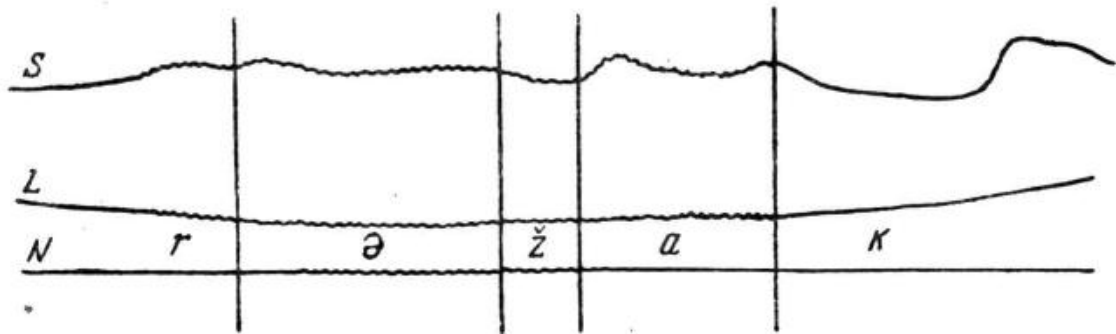


Рис. 18. *рыжак* [гэжак].

ствующие установлению первого сближения, должны считаться переходными и, согласно принятому мною принципу, относиться к гласному. Из измерений оказалось, что длительность так определенного гласного перед  $r$  в среднем вполне соответствует длительности гласного перед прочими спирантами.

Что  $r$  собственно является спирантом, при котором напряженный конец языка дрожит под напором проходящего воздуха, я уже указывал по поводу работы Фринты (Изв., Отд., XV, кн. I); и конечно, дело несколько не изменяется от того, что язык при своих вибрациях может иногда слегка задевать твердое нёбо. Большой или меньший спирантный шум всегда сопровождает  $r$ , и в зависимости от него говорят о *менее* или *более* вокальном характере  $r$ .

§ 95. Отдел этот вышел несколько длинен, но ведь искусство экспериментатора в значительной степени, как было сказано, состоит в умении толковать полученные кривые, и от правильности толкования зависит успех всего исследования. Поэтому я и считал своим долгом подробно объяснить, как и почему я поступал в разных отдельных случаях.

В заключение должен признать возможность, что во многих случаях границы проведены не совсем точно, а иногда и ошибочно. Но, во-первых, сомнения у меня бывали по большей части в пределах 0,25—0,5  $\sigma$ , а во-вторых, надеюсь, что и эти ошибки

исчезнут в средних арифметических, так как источники постоянных ошибок были более или менее предусмотрены. Насколько, однако, толкование кривых является деликатной вещью, показывает тот факт, что по крайней мере треть моих записей я измерял три раза, всякий раз меняя принципы деления.

Что касается самого способа измерения, то оно производилось посредством масштаба, вырезанного из камертонной кривой. Камертон имел 200 v. d., так что я измерял с точностью до  $0,25\sigma$ . Имея, однако, в виду невозможность чересчур точных определений разных точек, я перевел все свои цифры в целые сигмы, причем  $0,5\sigma$  и меньше откидывал, а больше  $0,5\sigma$  принимал за целую.

---

## ТРАНСКРИПЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ

(Известия комиссии по русскому языку АН СССР, т. I. 1931)

Вопрос о способе написания иностранных слов, входящих в состав русского языка, в том числе прежде всего имен собственных, с давних пор является одним из актуальных вопросов.

Я. К. Грот еще в 1873 г. посвятил ему во второй части своих «Филологических разысканий» около тридцати интереснейших страниц. Географическое общество уже давно работает над созданием русской транскрипции для географических названий. Время от времени появляются отдельные более или менее интересные статьи по тем или иным частным вопросам из этой области — сошлюсь для примера на ряд работ Е. Д. Поливанова; однако на практике дело в целом не сдвинулось с места ни на шаг со времен Грота. А жизнь не ждет. Усиление интернациональных связей обуславливает приток все новых и новых иностранных слов, которые приходится как-то писать и которые действительно как-то пишутся; газеты ежедневно регистрируют ряд фамилий новых иностранных деятелей, а отчасти и ряд географических названий, впервые вступающих в поле зрения общественной мысли, и регистрируют их в какой-то русской транскрипции; переводная литература, особенно техническая, растет с каждым днем, и фамилии иностранных авторов в той или иной русской форме все более и более наводняют русскую библиографию. Приходится таким образом констатировать отставание русской лингвистической мысли от практических задач в этой области, а поскольку жизнь все же как-то справляется с этими задачами, постольку можно было бы, пожалуй, даже воскликнуть: тем хуже для лингвистики, что она недостаточно чутко прислушивается к запросам жизни и не умеет заставить себя слушать. Однако при более внимательном отношении к тому, что происходит на практике, дело представится в несколько ином свете. Как и в других областях, «самотек» ведет к анархии, а анархия не терпима и в области транскрипции иностранных фамилий и названий, так как мешает языку правильно выполнять свою функцию, состоящую, как известно, во взаимопонимании.

В самом деле, можно ли догадаться, что *Солсбери* и даже *Солзбери* и *Салисбюри* одно и то же лицо, что *валлийский* и *уэльский* являются лишь разными русскими написаниями одного и того же слова. Кто знает, как правильно писать (и говорить) — *Манкс* или *Мэнкс* (а может быть и *Менкс*). Сколько времени должен потратить библиограф или библиотечный работник, чтобы найти в русском каталоге фамилию *Lanman*: он должен искать и под *Ланман*, и под *Лэнман*, и под *Ленман*, и под *Ленмэн*, и под *Лэнмэн*, а в конце концов и под *Ленмен*, и под *Лэнмен*. Фамилию *Meillet* он должен искать и под *Мелье*, и под *Мейе*, а пожалуй, и под *Мейэ*, и под *Мэйэ*. Фамилию *Schrijnen* он должен искать и под *Схрэйнэн*, и под *Схрэйнен*, и под *Схрейнен*, и под *Шрейнен*, и под *Шрийнен*, а пожалуй, и под *Шрейнэн*, и под *Шрийнэн*. Примеры можно множить без конца, и нельзя не прийти к заключению, что состояние транскрипции собственных имен в русском языке является хоть и маленьким, но все же общественным бедствием.

Цель настоящей заметки состоит в том, чтобы привлечь внимание как русских лингвистов, так и широкой общественности к этому скромному участку нашего строительства и высказать несколько общих соображений, которые могли бы лечь в основу дальнейших суждений.

Вопрос о транскрипции иностранных слов и собственных имен и фамилий должен быть для своего правильного решения сразу же дифференцирован, ибо в разных своих частях он может и решаться по-разному. Прежде всего надо выделить слова нарицательные, которые в сущности зачастую или вовсе не являются больше иностранными словами, или являются ими лишь временно, впредь до полного обрусения (или до исчезновения из обихода), ср. *штиблеты*, *шоколад*, *фельдъегерь* (ср. *Фельдъегерский* отдел ГПУ), с одной стороны, и *дэмпинг*, *допинг* — с другой.<sup>1</sup>

Слова эти, возникающие в живой речи, имеют то или иное русское произношение, которое является результатом взаимодействия целого ряда факторов, а именно: иностранного произношения, иностранного написания, русских традиций освоения иностранных слов и, наконец, русских произносительных возможностей. Все это весьма любопытно с научной точки зрения; но русского практического деятеля должен интересовать лишь самый факт русского произношения, который только и может лежать в основе русского написания, ибо морфологический принцип здесь не применим: написание *агрегат* (несмотря даже на французское *agrégat*) объясняется восхождением к латинской этимологии и решительно не может быть поддерживаемо. Таким образом, са-

---

<sup>1</sup> Не касаюсь здесь сложного вопроса о том, что такое иностранные слова: ведь для человека, абсолютно не знающего иностранных языков, нет и иностранных слов в прямом смысле этого термина.

мым естественным является здесь чисто фонетический принцип на основе живого русского литературного произношения. Так, следует писать *абат, акорд, акуратно, артиллерия, асистент, атестат, афект, эффект* и под. (ср. установившиеся написания: *арест, адрес, атака, атрибут*); далее, следует писать *дьявол, дьякон* (*диавол, диакон* могли бы быть лишь стилистическими вариантами), *дьяк, матерьяльный, миньютюрный, пьеса, фортепьяно* и т. д. (ср. установившиеся: *курьер, арьергард*); также следует писать *бугалтер* (хотя *Buchhalter*), *галстук* (хотя *Halstuch*), *бушприт* (хотя *boeghsprit*) и т. п. Однако, конечно, надо писать *касса, ванна, группа, геенна, вилла* и т. д., потому что так говорят по-русски. Точно так же следует писать *материя, кампания, компания* и т. п. по тем же причинам. Далее, конечно, надо писать *метил, ларингит, целулоид, но алюминий, эль* и т. п.; надо писать *виски, ватэр* и т. д., но *уэльсский*, все по тем же причинам. Наконец, надо писать *адэнт, адэкватный, терор* и под., но *тема, термометр, десант*, потому что так говорят по-русски.

Впрочем, по поводу предложенных написаний должно сказать, что, может быть, не все так произносят, как здесь указано. И действительно, чтобы решать в данном случае орфографический вопрос, надо сперва решить вопрос орфоэпический, к чему, насколько мне известно, до сих пор не было сделано почти что никаких попыток: русская орфоэпия почти что не имеет литературы.

Однако к решению вопроса о написании нарицательных иностранных слов можно подойти и совершенно иначе: можно защищать сохранение их традиционного вида, имея в виду, что они представляют из себя интернациональный багаж русского языка и облегчают изучение иностранных языков. Эта точка зрения важна с принципиальной стороны, и вопрос должен быть обсужден в этой плоскости нашей общественностью. Ничего подобного до сих пор не было сделано, а потому и весь вопрос о написании нарицательных слов иностранного происхождения следует признать незрелым и подлежащим доработке в указанных направлениях.

Вторую группу иностранных слов, которую надо выделить, составят географические названия. Она в свою очередь распадается на две подгруппы: 1) названия, часто употребляющиеся, имеющие вековую традицию и в языке, и на письме, а потому в сущности не являющиеся иностранными словами, их, конечно, не следует трогать, и нужно писать *Вена, Париж, Лондон, Рим, Копенгаген, Брюссель, Кассель, Геттинген, Гольфштрим, Дувр* и под., 2) названия малоизвестные и употребляющиеся главным образом в специальных трудах. Их написания крайне важны при картографировании, и Географическое общество, как было сказано уже выше, давно занято этим вопросом. В принципе вопрос этот решается на первый взгляд довольно просто: эти названия должны быть по возможности

точно транслитерированы.<sup>1</sup> Однако на практике это все гораздо сложнее, ибо как транслитерировать, например, китайские названия? Далее, как быть с языками бесписьменных народов? Наконец, как быть с разными транскрипциями, которые уже утвердились у разных европейских народов и с которыми поэтому нельзя не считаться? Вопрос принимает, таким образом, международный масштаб. К тому же надо признать, что он и не так актуален, ибо в нем заинтересованы главным образом специалисты. Их решения не могут, конечно, пройти вне контроля общественности и без консультации лингвистов, фонетиков и знатоков отдельных языков; однако специалистам не могут быть навязаны решения людей, стоящих далеко от их дела и не охватывающих всей совокупности относящегося сюда материала.

Наконец, третью группу составят иностранные фамилии. Вопрос об их написании, может быть, является самым актуальным. Единственным рациональным способом его решения явилось бы принятие западноевропейского принципа: сохранение оригинального написания латинскими буквами.

Этот иероглифический способ являлся бы также единственным истинно интернациональным способом, если бы не так называемые «восточные» алфавиты и языки. Однако и по отношению к языкам, употребляющим латинский алфавит, он прост лишь в тех случаях, когда этот алфавит употребляется в беспримесном виде: уже чешский язык, турецкие языки со своим новым алфавитом, отчасти скандинавские вызовут некоторые затруднения, ибо не всякая типография располагает нужными знаками. Но пока это все же единственный практический выход из положения, так как он вполне обеспечивал бы четкость библиографической и библиотечной работы.

Латинское написание можно было бы сопровождать в тех случаях, когда это нужно и желательно, русскими параллелями, которые должны попросту и бескомпромиссно отражать русское произношение, не прибегая ни к каким условностям. Само собой разумеется, что установление русского произношения иностранных фамилий должно быть обсуждено особо, в порядке вопроса о русской орфоэпии вообще.

Таково положение вещей в общем, и таков ряд практических шагов, которые следовало бы предпринять для улучшения дела. Но все же остается еще вопрос о регулировании восприятия в живую русскую речь, устную и письменную, всей той массы новых иностранных слов, названий и фамилий, которые ежедневно наполняют наши газеты. Если лингвистика хочет быть жизненной наукой, то она должна помочь жизни канализировать этот поток.

---

<sup>1</sup> Впрочем, самые принципы транслитерации могут быть различными: французское *Vaud*, произносящееся «во» (с кратким закрытым о), можно транслитерировать как *Бод*, а можно и как *БAUD*.

Здесь трудно высказать какие-либо совершенно общие положения, а скорее придется заняться выяснением соотношений между русским языком и его графикой, с одной стороны, и каждым отдельным иностранным языком с его графикой — с другой. Однако все же можно попытаться выбрать для примера ряд наиболее существенных общих вопросов.

Самый общий вопрос можно формулировать так: что брать у иностранцев — написание или произношение, т. е. говорить ли *Схакэспэарэ* (Shakespeare), *Мэйллэт* (Meillet), *Схав* (Show), *Эйнстэйн* (Einstein), *Лиэбкнэхт* (Liebknecht) или *Шекспир*, *Мэйе*, *Шоу*, *Айнштайн*, *Липкнэхт*? Жизнь уже давно и, как мне кажется, бесповоротно решила вопрос в пользу произношения, правда, как видно из примеров, не без некоторых небольших реверансов в сторону написания. Это последнее и придется обсуждать: нужны ли компромиссы, а если нужны, то в какой мере и где именно.

Если принято будет мое предложение об обязательном сохранении в библиографии латинского оригинала фамилий, то очевидно, что компромиссов может быть меньше, так как они все объясняются инстинктивным стремлением все же не чересчур отойти от буквенного оригинала, и вопрос должен идти, по-моему, лишь о компромиссах, упрощающих произношение с русской точки зрения. Например, можно спорить о том, следует ли говорить и писать *стрит* или *стрийт* в названиях английских улиц и т. п.

Другой общий вопрос, который тоже решается довольно легко, но который надо обязательно осознать — это вопрос о том, какое произношение надо заимствовать — произношение языка оригинала или произношение языка посредника. Ясно, что в принципе надо обращаться всегда к произношению первоисточника и не читать, например, голландские фамилии на немецкий или английский лад. Таким образом, надо говорить и писать *Версхюр* (Verschur), а не *Фершур*, *Звардемакер* (Zwardemaker), а не *Цвардемакер*. Впрочем, иногда, может быть, все же и придется поступиться этим принципом, например, при получивших широкое распространение слова какого-либо очень малоизвестного языка; но это придется решать особо в каждом отдельном случае.

Третий общий вопрос, который тоже решается сам собой, сводится к тому, обозначать ли как-нибудь свойства произношения, не имеющие себе аналогии в русском языке. Очевидно, что этого не нужно делать и что, например, долгота гласных, играющая такую важную роль в немецком языке, останется в большинстве случаев неучтенной в русской передаче. То же, конечно, относится и к финскому языку, двойные гласные которого должны передаваться простыми в русском, тем более, что в русском языке двойной гласный произносится двусложно и, не передавая таким образом финской особенности, вносит нечто совершенно

искажающее финское слово: так, конечно, надо писать и говорить *иварит*, а не *иваарит*.

Наконец, четвертый общий вопрос, какие элементы иностранного произношения должны быть передаваемы в русском, в принципе решается также просто: только те, которые имеют фонематическое значение. Поэтому такие тонкости, как произношение интервокального *b* в испанском или твердость конечносложного английского *l* (см. ниже) и т. п., могут не приниматься в расчет.

Из более частных вопросов остановлюсь на вопросе об употреблении *e* и *э*, на вопросе о передаче иностранного *l*, на вопросе о передаче иностранных *ö*, *ü*, на вопросе о передаче звука *йот*, на вопросе о двойных согласных и на вопросе о передаче иностранного *h*.

Относительно употребления *e* и *э* прежде всего надо рассеять легенду, будто русскому языку не свойственно сочетание твердого согласного с гласным *e* (*э*). Прежде всего слоги *ше*, *же*, *це* в словах *шест*, *жест*, *цел* и т. п. несомненно тверды и в сущности должны бы писаться *шэ*, *жэ*, *цэ*. Раз так и раз в русском языке существуют твердые *t*, *d*, *c* и т. д., то возможны и *тэ*, *дэ*, *сэ* и т. д. Но они не только возможны, но и существуют в литературном произношении: *от этого*, *под этим*, *с этим* и т. д. Следовательно, мы имеем все данные в русском языке, чтобы не произносить *Доде*, т. е. «*dod'e*», *Мюссе*, т. е. «*m'us'e*», а говорить *Додэ*, *Мюссэ*. То обстоятельство, что до сих пор в таких случаях не писалось *э*, объясняется преимущественным бытованием подобных слов в языке образованной верхушки общества, которая, владея иностранными языками, выучивалась этим словам не из русской книги и скорее предпочитала видеть в них *e*, одинаковое с латинским *e*, а не *э*. Теперь, когда новый общественный слой в массе не обладает пока этими ресурсами, по-моему, прямо преступно не пользоваться всеми возможными в русской графике средствами для указания правильного произношения. Поэтому, безусловно, необходимо писать в иностранных словах *тэ*, *дэ*, *нэ*, *сэ*, *зэ*, *рэ*. Можно спорить, как лучше говорить и писать: *кэ*, *гэ*, *хэ* или *ке*, *ге*, *хе*, ибо в большинстве иностранных языков заднеязычные согласные произносятся довольно мягко в соответственных сочетаниях, и *кэ*, *гэ*, например, для французского языка звучат очень плохо и во всяком случае хуже *ке*, *ге*. Можно также спорить о том, как лучше говорить и писать: *пэ*, *бэ*, *мэ*, *фэ*, *вэ* или *пе*, *бе*, *ме*, *фе*, *ве*, так как, с одной стороны, в большинстве иностранных языков губные в этих сочетаниях произносятся не абсолютно твердо, а с другой стороны, в русском литературном произношении они произносятся далеко не так мягко, как *те*, *де*, *се*, *зе* и т. д. (в губных сочетаниях с *e* отсутствуют или почти что отсутствуют переходные палатальные элементы, что особенно справедливо для неударенных слогов).

Безусловно, надо воздерживаться от написания *лэ*, которое довольно распространено в иностранных словах, особенно заим-



ствованных из английского (э этих слов объясняется часто стремлением *символически* передать английское  $a = \langle \text{æ} \rangle$ ). Звука *л* твердого ( $\langle \text{ɫ} \rangle$ ) нет в громадном большинстве иностранных языков и совершенно нелепо заменять им русское *л* мягкое ( $\text{л} = \langle \text{ɫ}' \rangle$ ) довольно близкое к среднему европейскому *l*. В связи с этим и вообще, конечно, нецелесообразно заменять иностранное *l* русским *л* твердым и в других случаях, т. е. писать *Зола, Ларусс, Макс Кол* и т. п. вместо *Золя, Лярусс, Макс Коль* и т. п. Многие из традиционных написаний в этой области объясняются так же, как и написания *те, де, не* и т. п. (см. выше). Особенно здесь действовал зрительный момент: было неприятно видеть вместо ожидаемого *a, y, o* — какие-то «варварские» *я, ю, ё*,<sup>1</sup> особенно в начальной части слова. Поэтому и писали *Ларусс, Лотце, Локк, Лувр* и т. п., но *Золя, Коль, Мильтон, Уэльс* и т. п.

Единственный случай, когда русское *л* твердое довольно близко подходит к иностранному произношению, — это в английских словах при конечносложном *l*. Так, *Милтон, Вилсон, Уэлз*, может быть, ближе к соответственным английским словам, чем традиционные русские написания. Однако более твердый оттенок английского конечносложного *l* не играет никакой семантической роли в английском языке (не является самостоятельной «фонемой»), а потому нам смешно гоняться за какими-то нюансами, несущественными для самих англичан, и создавать различие там, где его нет в языке оригинала, и поскольку начальносложное английское *l* несомненно должно передаваться через *л* мягкое, т. е. надо говорить и писать *Ляскер*, постольку надо говорить и писать *Мильтон*.

Перехожу к вопросу о передаче немецких *ö* и *ü* и им аналогичных звуков. Первый из них с успехом и лучше всего заменяется русским *э* в начале слов и после *т, д, н, с, з, р* и через *е* во всех прочих случаях (см. выше). В самом деле, существующая тенденция передавать *ö* через русское *ё* основана, конечно, на зрительной аналогии двух точек. Никак нельзя утверждать, что произношение *Göte* — «*g'ot'e*» лучше, чем *Гетэ* = «*g'ete*». Первое является просто чудищем, тогда как второе в конце концов может быть сочтено за немецкий диалектизм.

Гораздо хуже обстоит дело с передачей *ü*. После согласных в конце концов возможно сохранить традиционное *ю*; но в начале слов и после гласных *ю* дает лишний звук *йота* и таким образом искажает уже состав звукового слова. Поэтому я рискнул бы

---

<sup>1</sup> Буква *ё*, столь мало популярная у наших типографов, должна обязательно фигурировать в иностранных словах, ибо если можно позволить себе роскошь писать *ребра, плел* и т. п. вместо *рёбра, плёл* и т. п., то никак нельзя писать *Лекк* вместо *Лёкк*, *Ллейд* вместо *Ллёйд*, ибо никто правильно не прочтет этих слов, если их не будет знать раньше. Нам, привыкшим писать и говорить *Локк, Ллойд*, написания *Лёкк, Ллёйд* кажутся абсолютно дикими; но я и не особенно настаиваю на переименовании «русского» *Локка* в *Лёкка*, хотя и утверждаю, что этот последний гораздо ближе к своему английскому прототипу, чем традиционный *Локк*.

предложить говорить и писать вместо него *и*. К этому ведут и немецкие диалекты и живое произносительное заимствование: *Ибервег* является вполне утвердившейся передачей известной фамилии *Überweg*, и я безусловно предпочел бы *Иманитэ* вместо начинающего утверждаться *Юманите* (я не говорю о возможности его передавать через *Гюманитэ* или *Хюманитэ*, за которые, впрочем, вовсе не стою, однако только если будет введен обязательный латинский дублет).

Перехожу к вопросу о передаче звука *йот*. Хотя я и считаю, что вполне можно по-русски писать *Ердан* (но конечно не *Ердан*), *Есперсэн*, но думаю, что ничто в русской графике не противоречит написаниям *Йордан* (ср. *Нью-Йорк*), *Йесперсэн*. Они подчеркивают все же русскому человеку наличие в начале \*особого согласного элемента (а на начале слова в русском языке все же лежит какой-то семантический акцент). В соответствии с этим я не считал бы невозможным писать *Йум* вместо *Юм*, *Йакобсэн* вместо *Якобсэн*, хотя это в общем и не очень существенно. Внутри слова традиционные способы *ья, ю, ё, е, ѝ* после согласных (а в случае надобности и *ъя, ю, ё, е, ѝ*), после гласных просто *я, ю, ё, е, ѝ* кажутся мне вполне удовлетворительными. Не касаюсь здесь вопроса о колебаниях между «j» и «i», т. е. между *ь* и *и*: его надо было бы разобрать применительно к отдельным языкам, причем едва ли возможно тут установить полное единообразие. Нельзя также не считаться здесь и с некоторой орфоэпической традицией: мы говорим *Юлиан*, но *Касьян*, *кианти*, но *пьянино*.

Перехожу к трудному вопросу о двойных согласных. Прежде всего надо решительно восстать против мнения, будто русскому языку они не свойственны: в отличие от большинства (если не всех) славянских языков русский развил категорию двойных согласных (ср., например, слова *поддеть*, *ссаживать*, *ранний*, *непреклонный* и т. д.). Мало того, различие простого и двойного (долгого) *н* использовано в русском языке для выражения смысловых нюансов: *мороженое мясо* (прилагательное) и *замороженное мясо* (причастие). Не может быть поэтому сомнения в том, что категория двойных согласных совершенно живая категория в русском языке, а то обстоятельство, что в слогах, удаленных от ударенного, долгие согласные склонны к сокращению, не является показательным, ибо вообще эти слоги в русском слове представляют собою *locus minoris resistentiae* со всех точек зрения (ср. доходящую почти что до нуля редукцию неударенного гласного, например, в слове *копоть* или некоторую редукцию *в* в слове *наволока* и т. д.).

Раз так, то мы смело можем и должны употреблять двойные согласные везде, где это нужно. Безусловно, это было бы нужно в словах, взятых из итальянского, как, например, *Бенно*, *Липпи* и т. д.; безусловно, не нужно — в словах, взятых из французского, где категория старых двойных согласных совершенно отмерла

(двойное *s* между гласными является там лишь знаком для звука «*s*» в отличие от звука «*z*», обозначаемого в этом положении одним *s*; в других случаях двойные согласные обозначают открытое произношение  $e = \acute{e}$ , а в большинстве случаев они имеют лишь этимологическое значение). Поэтому надо говорить и писать *Ко-лет* (Colette), *Вили* (Willy), *Коле* (Collé) (как и *алея*, *алюр*, *адрес* и т. д.). Труднее обстоит дело с немецким, где двойные согласные на письме являются символами краткого гласного и закрытого слога. Хотя в русской графике они и не имеют соответственных функций, однако все же *Кассэль*, *Брюссэль* ближе к немецким *Kassel*, *Brüssel*, чем *Касэль*, *Брюсэль*. Дело в том, что русские долгие согласные, будучи более сильными и во всяком случае более отчетливыми, чем краткие, имеют с этой точки зрения нечто общее с немецкими сильноначальными согласными, произносящимися в закрытых слогах (т. е. там, где и пишутся по-немецки двойные согласные). Поэтому немецкие двойные согласные должны безусловно сохраняться в русском.

В английском, где согласные и в закрытых слогах не являются такими сильноначальными, как в немецком, двойные согласные не играют особой роли и имеют лишь этимологическое значение. Поэтому в словах, взятых из английского, нет смысла сохранять в русском двойные согласные, следует писать и говорить *Бель* (Bell), *Бенит* (Bennett), *Бесимер* (Bessemer) и т. п.

Затруднительным часто является определение источника заимствования того или другого русского слова: в самом деле, откуда наше слово *класс* — из французского или из немецкого? Однако это трудно определить лишь для старых слов. Новые слова, а особенно собственные имена, обыкновенно не оставляют места для сомнений.

В заключение несколько слов о передаче иностранного *h*. Не подлежит сомнению, что его лучше всего передавать через русское *х*, как это и начинает уже прививаться. Против может быть лишь одно соображение: в украинском и белорусском они передаются еще лучше через *г*, которое, как известно, имеет в этих языках значение звонкого *h*, и там нет оснований переходить к новому способу передачи: стоит ли поэтому нам ломать нашу традицию (которая к нам и пришла с юга) и создавать графический разнобой с соседними языками, имеющими одинаковый с нами алфавит, чтобы приблизиться к ним акустически. *Хамбург* на слух было бы несомненно ближе к украинскому *Гамбург* (так же как и к немецкому *Hamburg*), чем обычное русское *Гамбург* в литературном произношении, но зато стояло бы совсем на другом месте алфавита.

## ФОНЕТИКА

(Большая советская энциклопедия, т. 58, М., 1936)

Фонетика (от греч. *phonetikos* — звуковой) — раздел языковедения, занимающийся звуками человеческой речи. К звукам речи можно подходить с разнообразных точек зрения. Прежде всего приходится различать звуки человеческой речи вообще и звуки речи, употребляющиеся в определенном языке в определенную его эпоху или употреблявшиеся в его историческом развитии. В первом случае мы имеем общую фонетику, или просто фонетику (по-немецки — *Phonetik*), во втором — фонетику русского, французского и т. д. языков (по-немецки — *Lautlehre*), или историческую фонетику того же языка. С другой стороны, не так четко, но все же намечается противопоставление изучения звуков речи во всех их тончайших оттенках безотносительно к их значимости — изучению их использования в том или ином определенном языке в качестве различителей слов: антрофоника и психофонетика, по терминологии Бодуэна де Куртене, фонетика и фонология у чехословацких и американских лингвистов и фонология и фонетика (хотя с гораздо меньшей четкостью) у Граммона и Соссюра.

### ОБЩАЯ ФОНЕТИКА

Затруднение в определении предмета этой дисциплины состоит в том, что звуки речи, с одной стороны, как всякие звуки вообще, подлежат ведению акустики, с другой стороны, как реакции нашей нервной системы на внешние раздражения, — ведению физиологии органов чувств и, с третьей стороны, как результат определенных движений нашего речевого аппарата, — физиологии движений, физиологии речевого аппарата. Одно время общую фонетику некоторые ученые и называли (а некоторые и сейчас называют) физиологией речи (по-немецки — *Lautphysiologie*; примерно то же подразумевают Граммон и Соссюр под термином *фонология*). И несмотря на все это, общую фонетику приходится все же выделять как особую лингвистическую дисциплину, отличную и от

акустики и от физиологии, и относить ее к наукам социальным ввиду той роли, которую играют звуки речи в процессе человеческого речевого общения. С лингвистической точки зрения, явления, акустически и физиологически различные, могут быть тождественными: *a*, произнесенное громко или шепотом, лингвистически остается тем же *a*; есть языки, где различия *б, м, д, н* играют не большую роль, чем различие *a* чистого и *a* гнусавого в русском. С другой стороны, ничтожнейшие отличия, иногда без привычки трудно воспринимаемые, могут, противопоставляясь друг другу, играть различительную роль в том или ином языке. Самое понятие отдельного звука речи, фонемы, возникает лишь из лингвистического анализа; физиологически и акустически дан непрерывный речевой поток, делящийся во всяком случае совершенно иначе (ср. речевые молекулы и атомы Скрипчура); с лингвистической же точки зрения, одно и то же сочетание, например *yo, из, тс, дз* и т. п., в одних языках может рассматриваться как простой звук, в других — как сочетание двух звуков и т. п. Таким образом, хотя общая фонетика и опирается на акустику и физиологию речи, тем не менее ее приходится признать отдельной лингвистической дисциплиной; эта дисциплина подразделяется на две части — описательную и динамическую.

Описательная фонетика рассматривает звуковые возможности человеческого речевого аппарата, различаемые слухом, в аспекте их возможного использования в процессе речевого общения. Описание это может вестись в двояком направлении — либо с точки зрения слуховых ощущений, что кажется многим более естественным, ибо речь есть нечто слышимое, либо с точки зрения движений речевого аппарата, производящих соответственные звуки: получается или акустическая, или генетическая классификация возможных звуков человеческой речи. У нормального человека акустическая и моторная природа звуков речи составляет неразрывное целое, чем и объясняется возможность такого двоякого к ним подхода. Однако отчасти в силу неразработанности акустики звуков речи, а главным образом в силу того, что изучение движений речевого аппарата имеет многочисленные практические применения, человечество издавна классифицировало звуки речи преимущественно по двигательной ее стороне. В разных языках используются в целях речевого общения прежде всего качественные различия отдельных звуков речи, разделяющихся на гласные звуки и согласные звуки с их дальнейшими подразделениями; далее — их количественные различия по силе (сильные, слабые), по длительности (долгие, краткие), по напряженности (напряженные, ненапряженные, редуцированные); по участию или неучастию голоса (звонкие, глухие); различия по сложности (чистые, аффрикаты, аспираты, смычногортанные, монофтонги, дифтонги); различия согласных по окраске (лабиализация, палатализация, веляризация, фарингализация); различия слогового строения и, наконец, различия

ритмики и мелодики речи. Однако, рассматривая звуковые возможности речевого аппарата с точки зрения их использования в целях речевого общения, общая фонетика не может не изучать и эмпирического речевого потока, о котором была речь выше, ибо этот поток и есть частное проявление того общего, что служит основным предметом изучения общей фонетики как лингвистической дисциплины. Отсюда две стихии в фонетике, тесно переплетающиеся, неотделимые друг от друга, — антропофоническая и фонологическая — в том смысле, как эти термины разъяснены выше; отсюда, например, и возможность двух транскрипций — антропофонической, или просто фонетической, и фонологической, или фонематической.

Динамическая фонетика на самом деле неотделима от описательной, ибо, как известно, все в языке подвижно, и самое описание, чтобы отвечать действительности, должно отражать эту подвижность. В динамической фонетике изучается прежде всего зависимость реализации фонем и других фонетических величин в потоке речи, во-первых, от прочих фонем, образующих единую систему противоположностей в данном языке, во-вторых, от соседних в потоке речи фонем и, наконец, от всевозможных других факторов как фонетических, так и нефонетических. Далее, в динамической фонетике изучаются фонетические предпосылки исторических изменений или переходов звуков, о которых см. ниже. Эта важнейшая часть общей фонетики находится сравнительно еще в младенческом состоянии, хотя материалов для ее построения (в виде исторических изменений звуков) накоплено множество.

Экспериментальная фонетика и метод исследования в фонетике. Понятие экспериментальной фонетики создано Руссло, впервые в широком масштабе применившим к фонетическому исследованию определенного языка различную аппаратуру и записывавшим на кимографе как речевые движения, так и акустические колебания, а на искусственном нёбе получавшим отпечатки артикуляций отдельных звуков. Его исследование «*Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin*» (Paris, 1891) открыло современным лингвистам такие детали произношения и его эволюции, а также такие сокровенные связи между его элементами, каких никто и не подозревал, и сделало эпоху в фонетике. Правда, некоторые исследователи стали утверждать, что дело не в «эксперименте», а в применении инструментов к обычному наблюдению, почему они и предлагали называть экспериментальную фонетику «инструментальной». Однако это название не прижилось, и термин «экспериментальная фонетика» сохранился в применении к общей фонетике, работающей с помощью инструментов и раскрывающей механизмы речи, недоступные простому наблюдению. В ряде университетов учреждены лаборатории.

экспериментальной фонетики (в СССР — в Ленинграде, Казани, Москве), которые выпустили множество экспериментальных работ; издаются журналы, посвященные новой дисциплине; таким образом, почин Руссло оправдал себя на деле, тем более что эксперимент в прямом значении слова не только не чужд языковедению (и особенно фонетике), но может быть одним из существенных его методов (подробнее см. Л. Щерба. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. Изв. АН СССР, 1931, № 1). Однако вопрос об экспериментальной фонетике представляется в литературе все же спорным. Дело в том, что уже сам Руссло был склонен к излишнему механицизму в области фонетики, а некоторые из его эпигонов в разных странах возвели этот механицизм в принцип, отрицая, с одной стороны, всякое значение за непосредственным наблюдением на слух, а с другой стороны — принципиально отказываясь от каких бы то ни было общих фонетических величин, определяющихся социальной ролью фонетики, признавая лишь речевой поток в его эмпирической данности и объявляя экспериментальную фонетику естественнонаучной дисциплиной, относимой в ведение физиологов и медиков. Однако это понимание вещей возможно лишь благодаря недостаточному осознанию двойной природы фонетики (физиологической и социальной), о которой было говорено выше. Отрыв экспериментальной фонетики от языковедения приводит к плачевным следствиям: физиологи и врачи, не разбирающиеся в вопросах языкознания, делают в области фонетики грубые ошибки, чем грешат, с другой стороны, и многие лингвисты, не давшие себе труда усвоить основы физиологии и акустики.

Какие же другие методы существуют в фонетике, кроме экспериментально-фонетического? Прежде всего это метод прямого наблюдения путем слуха, путем мышечного чувства, путем зрения. Этот метод требует большой тренировки органов речи и слуха вообще, а также безукоризненного и сознательного владения произношениями разнообразных языков. Эта тренировка, этот богатый фонетический опыт и создают тип фонетика-лингвиста, который зачастую получает лучшие результаты, чем человек, хорошо владеющий приборами, но лишенный этого живого фонетического опыта. Наконец, третий метод в фонетике может быть назван лингвистическим и, являясь общим с другими отделами науки о языке, состоит в определении социальной значимости тех или других фонетических явлений, благодаря которой эти последние и становятся лингвистическими явлениями.

Практическое применение фонетики очень разнообразно. Не говоря о ее роли для языковедения вообще, надо указать, что она необходима для рационального составления алфавитов бесписьменных языков, а также при реформировании старых алфавитов и орфографии. Так как фонетика изучает, какие речевые движения надо делать для получения тех или иных звуков речи, то пути рационального изучения произношения ино-

странных языков лежат тоже через фонетику. Поэтому фонетика нужна и для рационального лечения недостатков речи, и для так называемой логопедии, и в еще большей мере для сурдопедагогики — как для постановки речи и чтения с губ у глухих, так и для воспитания слуха у людей с остатками слуха. Далее, фонетика нужна для искусства речи в разных его проявлениях, а также для пения как при постановке голоса, так и при разработке его тембров и речевых интонаций вообще. Кроме того, фонетика нужна для орфоэпии. Поскольку речь является в той или другой мере выразительным движением, то фонетикой интересуются в психологии и в психиатрии при диагностике душевных заболеваний. В последнее время вопросы фонетики приобрели большое значение в радиотехнике. Будучи нужна во всех этих областях, фонетика сама черпает в них сильные импульсы для своего дальнейшего развития.

История фонетики. Зачатки фонетики теряются в глубине веков. Некоторые понятия в этой области в связи с письмом имели уже греки, а от них римляне. Более глубокий интерес к фонетике проявился, как это и следовало ожидать, в связи с обучением глухонемых устной речи в XVI и особенно в XVII вв. XVIII в. характеризуется философским интересом, а именно: стремлением разгадать проблему говорящего человека (де Бросс и др.) и, в частности, построить говорящую машину (Краценштейн, Кемпелен и позже Фабер). Первая половина XIX в. уже изобилует работами акустиков и физиологов, посвященными звукам человеческой речи, и эти работы не прекращаются до наших дней (Пуркинье, Чермак, Брюкке, Гельмгольц, Герман, Штумпф и др.). Языковеды осваивают эту литературу во второй половине XIX в., и с тех пор фонетика становится по преимуществу лингвистической дисциплиной. Суит в Англии, Сиверс в Германии, Есперсен в Дании — едва ли не самые крупные имена в длинном ряду имен этого периода. Здесь нельзя не отметить, что древние индусы еще задолго до хр. эры (Панини) глубоко разработали описательную фонетику. К сожалению, результаты их работ стали известны в Европе лишь в XIX в., когда фонетика стояла уже на твердых ногах. Однако несомненно, что индийская фонетика все же оказала и может еще оказать известное влияние на европейскую. Конец XIX в. ознаменован созданием экспериментальной фонетики, а XX в., или, вернее, наше время, — углубленным изучением социальной стороны фонетических явлений.

### ЧАСТНАЯ ФОНЕТИКА

Переходя к фонетике какого-либо конкретного языка, приходится прежде всего констатировать, что между лингвистами существуют разногласия по поводу роли фонетики в системе данного языка: для одних — это описание материальной части языка, противопоставляемое языковой системе данного языка, для



других — это часть языковой системы, часть грамматики. Поскольку, однако, самое понятие отдельного звука речи, фонемы, как сказано было выше, возникает лишь в результате лингвистического анализа, постольку фонетику какого-либо конкретного языка никак нельзя отрывать от всей его смысловой системы. Если отрыв антропофоники от фонологии условно и возможен в общей фонетике, как не имеющий в виду какого-либо конкретного языка, то в частной фонетике он просто немыслим без разрушения самого языка. Стройность тройного членения грамматики на фонетику, морфологию и синтаксис является совершенно мнимой. Фонетика в действительности противопоставляется в системе каждого данного языка и словообразованию, и морфологии, и лексике и, однако, неразрывно со всеми ними связана. Задачей фонетики каждого данного языка является прежде всего определение его звукового состава, т. е. тех простейших звуковых единиц (фонем), прибавление, убавление и вставка которых способны создавать новые слова. Эта задача кажется на первый взгляд чересчур элементарной, так как для языков с письменной традицией она более или менее (хотя и не всегда хорошо) разрешена. Однако установить звуковой состав бесписьменного языка оказывается весьма и весьма трудным делом. Далее, частная фонетика определяет взаимоотношения между фонемами данного языка, образующими систему противоположностей, и на основании этого определяет существенные признаки каждой из них. Системой противоположностей определяются отчасти и эволюционные тенденции фонем, могущие спорадически сказываться в речевом потоке. Затем фонетика исследует колебания в произношении фонем в зависимости от различных условий и, наконец, устанавливает чередование фонем (см. ниже). Кроме того, фонетика исследует тип или типы слогового строения, свойственные данному языку, определяя фонетические условия их осуществления постольку, поскольку они не семантизованы. Наконец, фонетика исследует типы ритмических и мелодических рисунков слога, слова, синтагмы, группы синтагм, синтаксического целого и т. д. и определяет фонетические условия их осуществления в той мере, в какой они не семантизованы. Несмотря на все различие теорий, на различие терминологии, фонетики отдельных языков под пером разных авторов заключают в себе во всяком случае следующие существенные элементы: определение звукового состава данного языка, описание произношения его простейших звуковых элементов, его слогового строения, если оно представляет особенности, и его ударения, а иногда и наличных в нем чередований звуков.

### **ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА И ПОНЯТИЕ ЗВУКОВОГО ЗАКОНА**

Историческая фонетика какого-либо конкретного языка (*phonétique historique*, *Lautgeschichte*) является частью истории данного языка, а следовательно, ее построение должно иметь те же

предпосылки, что и любая историческая дисциплина. Однако та историческая фонетика, которая сложилась в течение XIX в., занимается в основном историей звуков речи внутри данного языка независимо от слов, в которых они встречаются. Иначе говоря, историческая фонетика констатирует систематические изменения звуков, «звуковые переходы», имевшие место в различные эпохи исторического существования данного языка или диалекта, что приводит к установлению соответствий между звуками более древних стадий и звуками более новых стадий. Так, древнерусское ъ (произносившееся, вероятно, более или менее как *иe*) во всех словах перешло в современное э (в русской орфографии пишется через *e*) ( $\text{ъ} > \text{э}$ ): древнерусское бѣл дало современное *бел*. Древнерусское э в слоге под ударением перед твердым согласным перешло в о с мягкостью предшествующего согласного (в орфографии сохраняется *e* (*ě*): ср. чередование — *село||сѣла*). Само собой разумеется, что слово «переход» надо понимать образно, так как «звуковой переход» сводится к изменению человеческой деятельности в определенной социальной среде под влиянием разнообразных факторов. Историческая фонетика различает спонтанное звукоизменение (переход), т. е. такое, при котором определенный звук во всех положениях переходит в другой, от комбинаторного, т. е. такого, когда он изменяется в том или ином направлении лишь при наличии определенных условий. Так, переход ъ в э (*e*) является спонтанным изменением, переход э (*e*) в о (*ě*) — комбинаторным. В идеале, конечно, историческая фонетика, как и всякая другая историческая дисциплина, должна бы и объяснить звуковые переходы, пользуясь, с одной стороны, историческим методом, т. е. определяя всю историческую обстановку жизни данного общества в эпоху данного перехода, а с другой стороны — данными динамической части общей фонетики, где специально изучаются фонетические предпосылки звуковых переходов. На практике, однако, историческая фонетика обыкновенно избегала этих объяснений или довольствовалась совершенно примитивными указаниями на антропофоническую возможность того или иного перехода и занималась, собственно, исключительно эмпирическим констатированием самих переходов в данном языке и их хронологией, а также объяснением констатируемых в отдельных словах отклонений от найденных норм. Следует отметить, что метод исторической фонетики оказывался в большинстве случаев достаточным для построения «истории» (в указанном выше смысле) слов и форм изучаемого языка. Однако уже давно указывалось историкам языка, что игнорирование ими общей фонетики приводит их иногда к наивным и грубым ошибкам и зачастую лишает их построения убедительности. Вырастающее у нас марксистское языкознание совершенно правильно ставит вообще в вину старой лингвистике, в том числе и фонетике, их формализм, их нежелание углублять свои объяснения и приводить языковые явления в тес-

нейшую связь с жизнью общества, с борьбой классов, и несомненно, что здесь и лежат пути дальнейшего развития науки о языке. Однако нельзя забывать, что мы можем теперь ставить эти вопросы только потому, что в итоге работы XIX в. было построено эмпирическое здание старой лингвистики. В частности, хотя большинство старых лингвистов и не особенно интересовалось причинами звуковых переходов, однако только накопленный ими эмпирический материал в этой области дает возможность серьезно ставить вопросы динамической части общей фонетики.

Звуковые переходы нужно строго отличать от чередований, т. е. случаев мены каких-либо звуков в одной и той же морфеме, входящей в состав существующих слов одного и того же языка. Например, мы говорим, что в словах *пеку*, *печет* чередуется с *ч* (*к||ч*), но из этого чередования еще не следует, чтобы *ч* в *печет* обязательно произошло из *к*. С другой стороны, звуковые переходы надо не менее строго отличать от «звуковых соответствий или звуковых корреспонденций» в других языках, например, русское *г* — украинское звонкое *h*; русское *э*, писавшееся в старой орфографии через *ѣ* — украинское *і* (*белый* — *білий*) и т. д. Из этих соответствий еще не следует, чтобы украинское *h* произошло из *г* и что украинское *і* произошло из *э* (*ѣ*) или наоборот. Соответствия, как и чередования, сами по себе еще ничего не говорят об исторических звукоизменениях; но сравнительное языковедение развило особый дедуктивный метод построения истории звуков на основании изучения чередований и соответствий, метод, благодаря которому историческая фонетика может в известных случаях и до известной степени заходить даже в эпохи, от которых не осталось письменных памятников.

Первый положил основы исторической фонетики Яков Гримм в своей знаменитой «*Deutsche Grammatik*», первый том которой вышел в 1819 г. и где он именно благодаря применению сравнительного метода очертил историю германского консонантизма, открыв «закон» германского «передвижения согласных». Впрочем, славу этого открытия Гримм делит с датским ученым Раском, который тоже сравнительным методом дошел до тех же законов в книге, напечатанной в 1818 г.

В середине и последней четверти XIX в. исторические звуковые изменения, или переходы, были подведены под понятие звуковых, или фонетических, законов. Около этого понятия в свое время разгорелась большая борьба и выросла громадная литература. Сначала вопрос шел лишь о том, чтобы подчеркнуть регулярность звуковых переходов в противовес утверждавшейся старыми учеными анархичности и произвольности звуковых изменений, т. е. чтобы показать, что можно говорить о систематических изменениях звуков речи вообще, а не только о звуковом изменении отдельных слов. В связи с этим впоследствии был провозглашен принцип отсутствия исключений (*Ausnahmslosigkeit*) из звуковых законов (Шлейхер, Шерер, особенно четко

Лескин). Этим подчеркивалось, что если в каком-либо конкретном слове или ряде слов звуковой закон окажется нарушенным, то это значит, что тут имело место действие еще какого-либо другого фонетического закона, оказавшегося более сильным, или вообще какого-либо другого фактора (у младограмматиков в роли такого фактора выступает аналогия, против злоупотребления которой теперь справедливо возражают). Однако тут уже у многих лингвистов сказывалось сознательное или подсознательное подведение звуковых законов под законы природы и особенно законы физики и химии. Это вызвало реакцию у разных лингвистов еще в прежнее время (Шухардт, Есперсен, Бодуэн де Куртене) и особенно в советском языкознании. В настоящее время более или менее ясно, что под звуковыми законами надо подразумевать начало и конец очень сложного развития, в котором участвует множество факторов, изучаемых в динамической части общей фонетики. При достаточной одинаковости этих факторов результаты получаются одинаковые, что и производит впечатление закономерности. Очевидно, одна эпоха и одна определенная социальная среда максимально обеспечивают одинаковость факторов, а потому обыкновенно говорят о том, что всякий звуковой закон справедлив лишь для определенного времени и места (надо было бы сказать — среды); очевидно, однако, что все же и при этом в конкретных случаях (т. е. в отдельных словах) могут иметь место различия в факторах, отчего могут получиться и разные результаты. В конце концов, однако, можно сказать, что хотя принцип отсутствия исключений из фонетических законов и не может быть оправдан теоретически, ибо нет самих «законов», однако в том смысле, как он был истолкован выше, он является полезным эмпирическим правилом.

---

## ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ РУССКИХ ФАМИЛИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

(Известия АН СССР, № 3. Отд. литературы и языка, 1940)

Развитие мировой торговли и прочих экономических отношений, а также связанный с этим рост культуры вызывают деятельный международный обмен культурными ценностями разного рода. Многие вещи и их названия, множество научных и технических понятий и выражающих их терминов стали более или менее международными: рис, автомобиль, самовар; физика, энергия, философия и т. п. дают об этом процессе вполне ясное представление. Однако все эти вещи и слова, будучи международными, вошли и в различные национальные системы вещей и слов и стали там претерпевать самостоятельные изменения: так, *рис* по-французски будет *ris* (с немым *s*), по-немецки — *Reis*, по-итальянски — *riso* и т. д.

Даже в собственных именах это часто дает себя чувствовать: франц. *Paris* (с немым *s*), нем. *Paris* (с произносимым *s*), итал. *Parigi*, русск. *Париж*; нем. *Wien*, франц. *Vienne*, чеш. *Videň*, русск. *Вена* и т. п.; русск. *Иван*, нем. *Johann*, франц. *Jean*, англ. *John*, польск. *Jan* и т. п. Зачастую переводы терминов затушевывают их единство: *dativus* — дательный, *accusativus* — винительный и т. п. Националистские тенденции даже сознательно иногда выкорчевывают всякие следы единства понятий: русск. *телефон*, франц. *téléphone*, но нем. *Fernsprecher*; русск. *билет*, франц. *billet*, но нем. *Fahrkarte* и т. п.

Тот или другой национальный разноречивый в единых в сущности по происхождению терминах не представляет, однако, пока особого бедствия; он неудобен только в науке и технике, где и сказывается несколько меньше. Зато он совершенно нетерпим в фамилиях и в географических названиях, где он решительно мешает международному общению.

Народы, пользующиеся для своей письменности латиницей, выходят из этого затруднения очень просто: они в фамилиях и географических названиях сохраняют во всех языках правописание оригинала, совершенно не заботясь о том, как он будет произноситься на том или ином языке. Идентификация на глаз,

а не на слух в громадном большинстве случаев удовлетворяет практически потребностям, являясь недостаточной лишь при телефонных сношениях и при радиопередачах.

Народы, пользующиеся не латинским алфавитом, поставлены в таких случаях в крайне затруднительное положение: как в самом деле писать фамилию *Шубин* в международном масштабе — *Schubin* (по-немецки), или *Choubine* (по-французски), или *Shobin* (по-английски), или *Šubin* (по-чешски), или *Szubin* (по-польски), или *Sciubin* (по-итальянски)? Совершенно очевидно, что нельзя пользоваться разными орфографиями в зависимости от народа, с которым общаешься: иначе при переезде из страны в страну рискуешь не получить денег по аккредитиву, не получить в срок нужного письма и т. д. Приходится выбирать ту или иную орфографию и ее всегда строго придерживаться. Так и поступает на практике большинство русских, имеющих заграничные сношения. Но какую орфографию выбрать? Очевидно, что здесь всякий выбор будет демонстрацией некоторых политических симпатий. В конце концов это довольно безразлично для отдельных лиц, но перестает быть таковым при коллективных выступлениях — в торговом деле, в мореплавании, при почтово-телеграфных сношениях, в иностранной картографии, в международной библиографии. Таким образом, вырастает целая проблема передачи русских фамилий и русских географических названий латинским алфавитом, проблема, имеющая не только чисто технический аспект, но и общекультурный, как увидим ниже, и даже отчасти политический.

Прежде всего встает вопрос, что передавать, звук ли русских слов или их написание? Поскольку русское произношение нельзя считать абсолютно единым (говорят и *шчука* и *шьшюка*, говорят и *несу* и *нису*, говорят и *памитник* и *паметник*, говорят и *возилса* и *возилса* и т. д.), постольку, конечно, приходится держаться орфографии, а не произношения. К тому же даже при современной технике написанное имеет несомненно более документальный характер, чем сказанное, и пока что, несмотря на всю важность возможности записывания речи на пленках или дисках, старинная поговорка *verba volant, scripta manent* сохраняет свою силу. Поэтому-то вопрос ставится не о транскрипции (записи звуков) фамилий и географических названий, а об их транслитерации, как теперь говорится в языковедении, т. е. о передаче букв соответственных слов.

Вопрос этот уже давно был поставлен жизнью перед русской культурой,<sup>1</sup> но решался по-разному: Академией наук в 1906 г. —

<sup>1</sup> Пользуюсь данным контекстом, чтобы подчеркнуть все те случаи, когда единство транслитерации становится делом исключительной важности: 1) при идентификации личности (на суде, в банке, в торговле, на почте и т. п.); 2) при идентификации судов дальнего плавания; 3) на географических картах и в разного рода международных списках населенных местностей, а по связи с этим в международных почтово-телеграфных сноше-

в духе славянского единства, Географическим обществом в 1911 г. — в англофильском духе и с давних пор почтово-телеграфным ведомством — в духе французского языка как традиционного международного языка. К этим трем транслитерациям прибавились в новейшее время еще две — Внешторга и Всесоюзного комитета стандартизации (ОСТ 8483, 16 X 1935г.), обе, в основном, в плане транслитерации Географического общества, т. е. в англофильском духе.

Академия наук, подтвердившая в 1925 г. свою систему транслитерации 1906 г. (с адаптацией ее к новой орфографии), оказалась таким образом теперь лицом к лицу перед пятью разными системами передачи латинскими буквами русских фамилий и географических названий (см. прилагаемую сравнительную таблицу существующих в настоящее время русских транслитераций) и поэтому решила заново пересмотреть весь вопрос, тем более, что на этом настаивали и некоторые отдельные лица (как, например, заслуженный деятель науки и техники инж. Л. С. Бобровский и мн. др.), предлагая разнообразные его решения.

Не желая находиться в плену у тех или иных тенденций или чисто деловых соображений, тем более, что все они имеют более или менее преходящий характер, Академия наук постаралась встать на принципиальные позиции. При более внимательном рассмотрении всего вопроса в целом оказалось прежде всего, что сквозь национальные модусы латинского алфавита можно увидеть намечающиеся контуры интернационального латинского алфавита (само собой разумеется, что дело идет не о форме букв, а об их основных функциях). Хотя, несомненно, как это было указано выше, что при транслитерации произношение играет второстепенную роль и что буквы в ней приобретают несколько иероглифический характер, однако они не становятся до конца иероглифами, и нежелательно придавать им функции, противоречащие тем, которые они имеют в международном сознании. Конечно, неважно, что мы говорим *Дон Жуан*, *Жорж Занд*, хотя на самом деле они *Дон Хуан*, *Жорж Санд* и т. д.; однако едва ли правильно заниматься систематическим извращением произношения фамилий и географических названий в европейском масштабе, придавая латинским буквам те или иные произвольные значения: нельзя транслитерировать *Хватова* через *Xvatov*, так как для всего света это будет *Ксватов*, и нельзя *Шатова* транслитерировать через *Shatov*, так как для людей, родной язык которых не английский, это будет *Схатов*.

Из всего этого вытекает, что вопрос о транслитерации русских фамилий и географических названий перерастает в вопрос о строительстве интернационального латинского алфавита для

ниях; 4) в международных библиографиях, где при отсутствии единства транслитерации часто совершенно невозможно найти того или иного автора. Наша Академия вынуждена была в свое время заняться вопросами транслитерации именно в плане работ по международной библиографии.

## Сравнительная таблица

существовавших до последнего времени русских транслитераций

Русский алфавит	Академическая 1906—1925 гг.	Географиче- ского о-ва 1911 г.	Наркомата связи	Внешторга	ОСТ ВКС 8483 1935 г.
а	а	а	а	а	а
б	б	б	б	б	б
в	в	в	в	в	в
г	g	g	g	g	g
д	d	d	d	d	d
е	e  je (после ь и ъ)	e	e	e	e  je (после гласных и в на- чале слова)
ж	ž	zh	j	zh	zh
з	z	z	z	z	z
и	i  ji (после ь)	i	i	i	i
й	j	j	i	j	j
к	k	k	k	k	k
л	l	l	l	l	l
м	m	m	m	m	m
н	n	n	n	n	n
о	o	o	o	o	o
п	p	p	p	p	p
р	r	r	r	r	r
с	s	s	s	s	s
т	t	t	t	t	t
у	u	u	ou	u	u
ф	f	f	f	f	f
х	ch	ch	kh	kh	kh
ц	c	tz	ts, tz	z	c(ts)
ч	č	tsh	tch	ch	ch
ш	š	sh	ch	sh	sh
щ	šč	stsh	stch	sch	sch
ъ	пропускается	'	—	пропускает- ся	j
ы	у	у	у	у	у
ь	i  пропускает- ся (перед е, и, ю, я, ё)	j  j' (перед е, и, ю, я)	пропускает- ся  i (толь- ко в середи- не слова)	j	j  может про- пускаться (в конце слова и между двумя согласными)
э	e	é	e	e	e
ю	ju  iu (после согласных)	ju	iou	ju	ju
я	ja  ia (после согласных)	ja	ia	ja	ja
ё	jo  iо (после согласных)	—	—	—	jo



международных сношений, и наша Академия не может подойти к подобному вопросу с узко практической точки зрения.

Рассмотрим, что в латинском алфавите уже несомненно интернационально по функции. Сюда относятся следующие буквы: *ā, b, d, e, é, è, ê* (все три последние буквы более или менее как синонимы), *f, h, k, l, m, n, ò, p, q* (как синоним *k*), *r, t, ù, x* (в смысле *ks*).

Далее, буквы *a, e, i, o, u, v*, хотя в национальных алфавитах и употребляются в разных смыслах, однако несомненно имеют рядом и общепризнанное интернациональное значение (то, которое они имеют хотя бы в итальянском). Сюда же, пожалуй, относится и буква *g* в смысле русского *г*, хотя в некоторых языках она имеет разные функции перед гласными *e, i, y*. Буква *w* имеет две функции в национальных алфавитах — русского *в* и неслогового *y* (например, в английском); последнюю, конечно, надо считать интернациональной, поскольку в смысле русского *в* безусловно фигурирует буква *v*.

Хуже всего обстоит дело с буквами *s, j, y, z*. Если буквам *s* и *z* и может быть с большей или меньшей уверенностью приписано в качестве интернационального значение русских *с* и *з*, то для букв *s, j, y* это значение совершенно нельзя установить, а потому кажется, что можно поддерживать любое. Однако мы должны осознать, что всякое наше решение в этой области имеет какое-то значение в деле создания интернационального латинского алфавита в подлинном смысле этого слова (т. е. не как единой графической системы, а как единой функциональной системы знаков). Не может быть сомнения в том, что это вопрос первостепенной важности как для настоящего, так особенно для будущего, и недопустимо, чтобы такие вопросы и в наше время решались стихийно.

Академия наук поддерживала до сих пор употребление букв *s, j, y* в смысле русских *ц, й, ы*. Я думаю, что с международной точки зрения это безусловно справедливо по отношению к букве *j*. Эта буква в одних национальных алфавитах обозначает русское *ж* (во французском), в других аффрикату *дж* (в итальянском и в английском), в третьих — русское *х* (в испанском). Вся эта пестрота так убивает друг друга, что более первоначальное значение *j*, которое вытекает из позднего латинского и которое сохраняется в целом ряде языков (славянских, германских и мн. др.), естественно становится интернациональным.

Иначе обстоит с буквой *s*, которая собственно в латинском обозначала *к* и которая обозначает его и до сих пор во многих языках в тех случаях, когда она не стоит перед гласными *e, i, y*. В связи с этим на первый взгляд было бы естественно оставить за буквой *s* это ее основное значение (параллельно букве *g*). Однако, с одной стороны, это была бы уже третья буква для звука *к* (ср. *k* и *q*), а с другой — буква *s* имеет очень разные значения в национальных алфавитах перед гласными *e, i, y*. Все

это ослабляет ее интернациональное значение как знака для звука *к* и лишает ее вообще какого-либо ясного интернационального значения.

Точно так же неясно интернациональное значение и для буквы *у*: в некоторых национальных алфавитах она обозначает просто русское *и*, но чаще обозначает *йот*, т. е. русское *й*, конкурируя таким образом с буквой *ј*. В очень многих языках она обозначает то же, что немецкое *й* (в немецком, в скандинавских, в суоми). Так как для *йота* наиболее интернациональной буквой следует признать, как об этом говорилось выше, *ј* и так как, с другой стороны, буква *й* несомненно является интернациональной, то *у* пока приходится считать лишней буквой.

Пересмотрев таким образом весь латинский алфавит с точки зрения степени интернациональности тех или иных функций отдельных его букв, перейдем теперь к подысканию наиболее подходящих знаков для тех русских букв, для которых в латинице нет очевидных эквивалентов. В области согласных это будут *ц*, *ч*, *ш*, *ж*, *щ* и *х*. Оставляя в стороне пока букву *х*, относительно буквы *щ* сразу скажем, что она теоретически (если не всегда в произношении, ср. выше, стр. 171) отвечает комбинации звуков *ш + ч*, а потому не требует особого латинского эквивалента. Далее, обратим внимание на то, что звуки, обозначаемые буквами *ч*, *ш*, *ж*, являются «шипящими» видоизменениями «свистящих» *ц*, *с*, *з* и могут быть обозначены каким-либо дополнительным значком при буквах для этих последних. Готовая система подобных знаков имеется в чешском, где *ц* обозначается через *с*, а *ч* — через *č*, *ш* — через *š* (при *с = s*), а *ж* — через *ž* (при *з = z*). Хотя несомненно, что аффриката *ц* могла бы быть обозначена через *ts*, а аффриката *ч* — через *t +* тот или другой знак для *ш*, однако готовая система знаков для аффрикат, с одной стороны, и для шипящих — с другой, в высшей степени удачно восполняет явный пробел латинского алфавита в этом отношении (особенно это важно по отношению к шипящим).

Знаки *с*, *č*, *š*, *ž* в указанных функциях свойственны следующим национальным алфавитам: хорватскому, словинскому, чешскому, словацкому, обоим лужицким, литовскому и латышскому. На современных английских и американских картах они уже употребляются в географических названиях соответственных стран, и если они не получили окончательного международного признания, то только потому, что их международная применимость крайне ограничена. Как только мы систематически будем применять их при транслитерировании наших фамилий и географических названий (на наших вывозных изделиях, в международных библиографиях, в почтовых сношениях и т. п.), они должны будут немедленно появиться в широком масштабе на географических картах и завоюют себе право гражданства в интернациональном латинском алфавите, ибо удобно восполняют его пробел. Таким образом, это практическое решение в области транслите-

рации русских фамилий и географических названий окажется и крупным шагом в деле создания интернационального латинского алфавита. Соображения типографского характера против букв с надстрочными знаками опровергаются реальным опытом целого ряда стран, где эти знаки употребляются (ср. также буквы *i, ä, ö, ü, è, é, ê* и т. п.). Соображения же о затрудненности письма этих букв, требующего отрыва руки, отстраняются прежде всего тем, что машинка рано или поздно почти окончательно вытеснит рукопись, а также и тем, что на практике и многие другие буквы не пишутся одним почерком (вообще все эти технические вопросы представляются всегда так или иначе разрешимыми на практике, причем никоим образом не следует забывать, что техника должна служить обществу, а не общество технике: узкое делчество и отсутствие более широких перспектив испортили «новый латинский алфавит», который мог бы быть очень интересным предприятием международного значения, и мы не должны повторять его ошибок).

Предлагаемые Географическим обществом, Комитетом стандартизации, Внешторгом и некоторыми отдельными лицами английские диграфы *ch, sh, zh* в качестве знаков для шипящих совершенно не понятны в международном масштабе, т. е. без предварительного условия, что пишется по-английски, *ch* просто многосмысленно (во французском = русскому *ш*, в немецком и западнославянских языках = *х*, в итальянском = *к* и т. д.); *sh* вне специально английского ключа, а тем более *zh* должны в международном масштабе читаться как русские *сх, зх*, как об этом говорилось выше. Принятие этих диграфов Академией наук было бы явным шагом назад в деле строительства интернационального латинского алфавита.

Кроме того, надо ясно себе представить, что отказ Академии от своей традиционной системы изображения шипящих явился бы отказом от национальной линии, что едва ли было бы целесообразно на данном этапе.

Перехожу теперь к транслитерации русской буквы *х*. Некоторые предлагают оставить русский знак, т. е., говоря в аспекте латинского алфавита, предлагают передавать ее через латинскую букву *х*. Это, конечно, совершенно невозможно, так как эта последняя буква имеет несомненное интернациональное значение звуков *к + с*, как об этом было сказано выше.

Традиционная передача буквы *х* через *ch*, по примеру немецкого и западнославянских языков, так же плоха и по тем же причинам, что и передача буквы *ч* через английское *ch*. Несомненно довольно удачна англо-французская манера изображения русского звука *х* через *kh*: этот диграф, читаемый буквально, т. е. как два звука, напоминает акустическое впечатление от нашего *х*. Однако всякий диграф для одной буквы и одного соответственного звука противоречит основным принципам транслитерации, и поэтому следует искать другого способа трансли-

терапии для *х*. Такой способ находим в латинском *h*, которое давно применяется в этих целях в хорватском и словинском алфавитах. На слух соответственные звуки очень близки, а поскольку звук *h* в русском отсутствует, постольку никаких недоразумений не может быть. Единственным возражением является тот факт, что украинское и белорусское *г* естественно транскрибируется через *h*. Однако, так как дело идет о транслитерации, а не о транскрипции, то буква *г* в украинском и белорусском, как тождественная с соответственной русской буквой, правильнее всего должна транслитерироваться через *g*, согласно ее первоначальному значению, что нисколько не мешает в транскрипциях передавать ее иначе.

Вопрос о передаче твердости и мягкости согласных будет трактоваться ниже, в связи с передачей букв *ѣ* и *ь* как отдельных знаков, а сейчас перейдем к гласным. Насколько вопрос прост по отношению к буквам *а*, *о*, *у*, *э* и по отношению к букве *и* не после *ь*, настолько он не ясен по отношению к букве *ы*. В основе транслитерации этой буквы через латинское *у* лежат лишь польский, чешско-словацкий и лужицкий узус (причем надо иметь в виду, что в настоящее время этого звука собственно нет ни в чешском, ни в словацком). Было бы правильнее думать о сохранении русской буквы *ы*, но она состоит из двух знаков, а потому неприемлема. Если бы «новый латинский алфавит» принял в свое время *ѣ*, а не *ь* в смысле русского *ы*, то этот знак при поддержке русского и болгарского имел бы шансы понемногу стать интернациональным. Поэтому пока приходится поддерживать традиционное славянское *у* в смысле русского *ы*, имея в виду, что буква *у* не имеет в сущности никакого установившегося международного значения, как это было показано выше. В защиту этой транслитерации можно было бы привести то обстоятельство, что скандинавское значение буквы *у* — звук *й* — на слух для иностранцев сближается с русским звуком *ы*. Однако само собой разумеется, что этот аргумент порочен ввиду малой интернациональности скандинавского значения *у* и мог бы в конце концов скорее говорить о необходимости транслитерировать *ы* через *й*, на чем тоже едва ли можно настаивать ввиду интернационально известной специфичности русского звука.

Что касается передачи букв *ѣ*, *ь*, *е*, *ю*, *я* и отчасти *и*, то надо признать академическую транслитерацию во всем безусловно правильной и последовательной (см. таблицу), кроме передачи русской буквы *е*: то же следовало бы передавать через *ie* после согласных и через *je* в остальных случаях (при желании этот принцип можно было бы распространить и на букву *ё* — *io* и *jo*).

Однако нельзя не принять в расчет того обстоятельства, что знак *ı* абсолютно отсутствует и в международной и в какой-либо национальной традиции, а потому в практике всегда будет заменяться через *i*, что будет вызывать некоторые смещения, напри-

мер *liju* (Лию и лью), *kuriju* (римскую курию и курью ножку) и т. п. Поэтому проще всего было бы принять как единый способ транслитерации для ю — *ju*, для я — *ja*, для е — *je* (при желании для ё — *jo*).

Создавая единство транслитерации букв ё, ю, я (о транслитерации букв е и и предстоит говорить особо), необходимо подумать о букве ъ с ее отделительной функцией (об отделительной функции буквы ь будет сказано ниже), которую действующая академическая транслитерация могла игнорировать. Эту функцию можно передать в латинице только апострофом, который, символизируя пропуск буквы, косвенно намекает и на раздельность произношения. Таким образом, предлагаемое новшество состоит в том, чтобы сочетания, например, *бъя/бя*, которые до сих пор транслитерировались соответственно через *бја/биа* теперь передавать через *b'ja/bja* (то же относится и к сочетаниям с другими согласными, а также к сочетаниям с буквами ё, ю). С точки зрения принципов транслитерации это точнее, так как ни одна буква не пропускается, а одинаковые буквы передаются во всех случаях одинаково. С точки зрения произношения и то и другое одинаково плохо, так как никакая латиница не в состоянии общепонятно выразить русские сочетания *бя, бё, бю; дя, дё, дю* и т. д.

Что касается передачи ь, выражающего в русском мягкость согласных, через *i*, что, как выше было сказано, является весьма остроумным и гармонирующим в традиционной академической транслитерации с передачей я, ю после согласных через *ia, iu*, то отсутствие международного знака *i* тоже поведет на практике к разного рода смещениям (*solī* будет означать и *соль* и *соли*). Поэтому более целесообразным является передавать ь через *j*, как это предлагают Географическое общество и Комитет стандартизации и как это делают хорватский и словинский алфавиты, изображающие мягкие (палатальные) *l* и *n* через *lj* и *nj*.

Об отделительной функции ь можно бы специально и не думать: написания вроде *солюю* — *soljju*, *копя* — *korjja* четко отличались бы от *солю* — *solju*, *копья* — *korja*. Однако надо признать, что написания с двумя йотами имеют маловразумительный, с интернациональной точки зрения, вид, а потому едва ли не лучше, пренебрегши в этих случаях смягчающей функцией ь, транслитерировать через апостроф только его отделительную функцию, т. е. писать *солюю* — *sol'ju*, *копя* — *kor'ja*. Таким образом, перед йотом, т. е. перед русскими буквами *е, ё, ю, я*, в транслитерации сотрется различие твердости и мягкости согласных, т. е. слогов *дъя* и *дья*, *дью* и *дью* и т. п., что, однако, едва ли поведет к каким-либо смещениям; недаром при реформе русской орфографии в 1917 г. собирались даже совсем уничтожить букву ъ и ввести букву ь во всех этих случаях, т. е. писать *объявить, сдьютант, подъезд* и т. д.

Наконец, обращаемся к транслитерации буквы *e* в разных положениях и буквы *и* после *ь*.

Идя по пути всяческого упрощения и желания зрительного сближения с иностранными начертаниями, а также с укоренившейся практикой иностранных транскрипций русских собственных имен (*Ленин* — *Lenin*, а не *Ljenin*), можно решиться пренебречь на практике различием между *e* и *э* после согласных, которое все более и более утрачивается даже в русской орфографии, и передавать согласно академической традиции обе буквы через латинское *e* в этих случаях.

Передавать, однако, согласно академической традиции через *e* обе русские буквы в начале слов и после гласных является все же неправильным, так как это вызывает смещения вроде *ель* и *эль*, *ехать* и *эхать*, *поэт* и *поет* и т. д. Едва ли также правильно *Егорова* делать *Эгоровым*, *Енисей* (по-французски *Jenisséi*) — *Энисеем*, *Ейск* (по-французски *Iéisk* или *Yéisk*) — *Эйском*, *Елец* (по-французски *Iéletz* и *Eletz*) — *Эльцом* и т. д.

После *ѣ* и *ь* букву *e* и букву *и* после *ь* в согласии с академической традицией следует транслитерировать соответственно через *je* и *ji*, причем отделительные *ѣ* и *ь* могли бы оставаться без передачи, так как написания *козье* — *kozje*, *подъезд* — *podjezd*, *Аркадьин* — *Arkadjin* не вызывали бы никаких недоразумений. Однако, чтобы не усложнять правил, лучше и в этих случаях писать *koz'je*, *pod'jezd*, *Arkad'jin*, т. е. всегда передавать отделительные *ѣ* и *ь* (иначе говоря, *ѣ* и *ь* перед буквами *e*, *ё*, *и*, *ю*, *я*) через апостроф.

Таким образом, единственная неточность предлагаемых здесь правил транслитерации (она была свойственна и старым академическим правилам) состоит в неразличении твердости и мягкости согласных: а) перед гласным звуком *e* (т. е. в неразличении букв *e* и *э* после согласных) и б) перед согласным звуком *j* (т. е. в неразличении букв *ѣ* и *ь* перед буквами *e*, *ё*, *и*, *ю*, *я*). Эта неточность, однако, не может быть признана недостатком, так как отвечает тенденциям русской орфографии, как об этом было сказано выше.

На основании всего вышеизложенного Отделение литературы и языка АН СССР на заседании 27 X 1939 г. подтвердило в основном транслитерацию, принятую Академией наук в 1906 г. и 1925 г., со следующими, однако, изменениями:

Русская буква	Транслитерация 1925 г.	Транслитерация 1939 г.
<i>e</i>	{ <i>e</i> <i>je</i> (после <i>ь</i> , <i>ѣ</i> )	<i>e</i> (после согласных) <i>je</i> (в начале слов, после гласных и после <i>ь</i> , <i>ѣ</i> )
<i>ё</i>	{ <i>jo</i> <i>io</i> (после согласных)	<i>jo</i>
<i>х</i>	<i>ch</i>	<i>h</i>
<i>ь</i>	пропускается	' (апостроф)

Русская буква	Транслитерация 1925 г.	Транслитерация 1939 г.
ь	{ $\bar{i}$ пропускается (перед е, ё, и, ю, я)	' (апостроф перед е, ё, и, ю, я)
ю	{ $\bar{ju}$ и (после согласных)	ju
я	{ $\bar{ja}$ (после согласных) ia (после согласных)	ja

В результате правила академической транслитерации русских фамилий и географических названий приобрели следующий окончательный вид:

а — a	п — p
б — b	р — r
в — v	с — s
г — g	т — t
д — d	у — u
е { e (после согласных)	ф — f
{ je (в остальных случаях)	х — h
ё { o (после ж, ч, ш, щ)	ц — c
{ jo (в остальных случаях)	ч — č
ж — ž	ш — š
з — z	щ — šč
и { ji (после ь)	ъ — ' (апостроф)
{ i (в остальных случаях)	ы — y
й — j	} ' (апостроф перед е, ё, и, я, ю)
к — k	
л — l	э — e
м — m	ю — ju
н — n	я — ja
о — o	

Примечание 1.<sup>1</sup> Фамилии и названия, в основе которых лежат иностранные написания, сохраняют их и при транслитерации: *Гамбург* транслитерируется как *Hamburg*, *Шмидт* как *Schmidt* и т. д.

Примечание 2. В библиографии транслитерации фамилий, которых издавна придерживаются сами авторы, могут быть даваемы в скобках.

Уже после того как вышеизложенные правила транслитерации были приняты в Москве, был получен проект транслитерации кириллицы, составленный в Международной ассоциации по стандартизации (ISA). Этот проект, как оказалось, во всем существенном совпадает с вышеизложенными правилами: *ж* — *ž*, *й* — *j*, *х* — *h*, *ц* — *c*, *ч* — *č*, *ш* — *š*, *щ* — *šč*, *ы* — *y*, *ь* — или *j* или апостроф, *э* — *é* или *e*, *ю* — *ju*, *я* — *ja*. Только *e* всегда транслитерируется через *e*, а русское отделительное *ъ*, по-видимому, не предусмотрено.

<sup>1</sup>Внесено Президиумом Академии наук СССР.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие . . . . .	3
Очередные проблемы языковедения . . . . .	5
К вопросу о распространении в СССР знания иностранных языков и о состоянии филологического образования . . . . .	25
<b>Работы общего характера</b>	
Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений	<b>35</b>
О понятии смешения языков . . . . .	40
Опыт общей теории лексикографии . . . . .	54
О второстепенных членах предложения . . . . .	92
Что такое сравнительный метод в языкознании? . . . . .	104
<b>Работы по фонетике</b>	
Несколько слов о сложных согласных звуках . . . . .	105
Субъективный и объективный метод в фонетике . . . . .	110
Заметки по общей фонетике . . . . .	117
Русские гласные в качественном и количественном отношении . . . . .	124
О некоторых основных фонетических понятиях . . . . .	—
О классификации гласных . . . . .	138
О методе исследования . . . . .	140
Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий . . . . .	153
Фонетика . . . . .	162
Транслитерация латинскими буквами русских фамилий и географических названий . . . . .	171

---



*Щерба Лев Владимирович*  
**Избранные работы по языкознанию  
и фонетике**

Том I

Редактор *Н. А. Кузнецова*  
Техн. редактор *А. В. Семенова*  
Корректоры *Е. М. Демьянова,*  
*Г. Л. Хаславская*

---

Сдано в набор 5 XI 1957 г.  
Подписано к печати 4 VI 1958 г.  
М-35047. Тираж 5200 экз. Печ. л. 11,5.  
Бум. л. 5,75. Уч.-изд. л. 11,7.  
Формат бум. 60×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Заказ 206.

---

Типография ЛОЛГУ.  
Ленинград, Университетская наб., 7/9

### ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
105 148 155 172	13—12 снизу 9 сверху 16 " " " 22 снизу	Ratschlag вибрации терор звук	Ratschlag вибраций тэрор звуки

8 р. 50 к.